# Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 4

2018

## *СОДЕРЖАНИЕ:*

### ПРОЗА

Натиг РАСУЛЗАДЕ. **Седьмая ночь.** *Рассказ* 11
Гюльшан ТОФИГГЫЗЫ. *Рассказы* 48
Надир АГАСИЕВ. **Отражения-2** 84

### ПОЭЗИЯ

Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. **Болгарские мотивы.** *Стихи* 39
Тамара ВЕРЕСКУНОВА. *Стихи* 66
Саида СУБХИ. **Условностей выше.** *Стихи* 68
Владимир ЦЫРУЛЬНИК. *Стихи* 127

### ПУБЛИЦИСТИКА

Эльмира АХУНДОВА. **Контакт длиною в 60 лет** 3
Низами МАМЕДОВ. **В поисках смысла истории: о романе Эльчина «Голова»** 42
Аида ФЕЙЗУЛЛАЕВА. **Япония в духовно-творческом обогащении К.Бальмонта** 74
Ляман БАГИРОВА. **Внимание к людям. Павел Нилин**. *Эссе* 129

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-86-04

Сдано в печать 16.03.2018г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

***Рукописи не рецензируются и не возвращаются.***
***Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.***
***В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2018 г.

# К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНАРА

## ЭЛЬМИРА АХУНДОВА

## *К О Н Т А К Т*
## *ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ*

*В 2016 году, впервые за много лет, престижное московское издательство «Художественная литература» представило россиянам произведения Анара. Как сказано в аннотации, с этого двухтомника «начинается повторное возвращение большого писателя к российскому читателю». В этом солидном двухтомнике представлены лучшие произведения как прошлых лет, так и написанные совсем недавно, например, философская повесть «Амулет от сглаза».*

*Перелистывая подаренные мне Анаром книги, я решила в преддверии юбилея моего старого друга и наставника перечитать все эти произведения, порой более чем полувековой давности, глазами современника. Взглянуть на художественные образы и отображенные Анаром проблемы с позиции дня сегодняшнего. И попытаться понять, что же делает многие из этих рассказов и повестей притягательными, интересными до сих пор, что заставляет уже второе и даже третье поколение читателей обращаться к его книгам, читая и перечитывая «Красный лимузин» и «Контакт», «Шестой этаж пятиэтажного дома» и «Номер в отеле». Именно эта «живучесть» художественных образов, созданных писателем на протяжении насыщенной творческой жизни, и представляется мне главным феноменом произведений Анара. И именно в причинах этой «живучести» нам с вами предстоит разобраться.*

### *Том 1. Рассказы, повести, эссе*

Первый рассказ в книге датируется 15 декабря 1959 года, последняя повесть, помещенная в ней, написана в 1993–1994 годах. 35 лет, пролетевшие от времени создания «Рассказа гардеробщицы» до повести «Номер в отеле» – эпохальная дистанция. Потому что писался «Рассказ гардеробщицы» в советское время, в самый разгар хрущевской оттепели, когда и в повседневную жизнь людей в СССР, и в литературу, и вообще в искусство ворвались мощные ветры перемен, когда стало возможным писать о том, о чем писать раньше казалось немыслимым… А повесть «Номер в отеле» создавалась совсем в другую эпоху, когда не стало ни СССР, ни коммунистической идеологии, когда были низвергнуты все старые кумиры и, что еще печальнее, все прежние ценности, среди которых было немало доброго, хорошего, гуманного…

И все же оба произведения узнаваемы, потому что ни в 1959 году, ни в 1993-м Анар не изменил ни себе, ни своей любимой теме. Начиная с 1959 года и до дня сегодняшнего, главным героем рассказов и повестей Анара станет простой, обычный, в хорошем смысле рядовой человек, его радости и беды, успехи и неудачи, его жизнь и его смерть…

«Последнюю ночь уходящего года» (1959), «Рассказ гардеробщицы» (1960), рассказы «Я, ты, он и телефон» (1967), «Грузинская фамилия» (1967) я прочитала со смешанными чувствами ностальгии и радости от встречи со старыми знакомыми. Потому что могли забыться детали или, скажем, имена героев этих рассказов. Но их аура, тонкий лиризм, деликатность и в то же время искренность в отображении самых потаенных чувств человека – эти качества ранней прозы Анара жили в моей памяти долгие годы.

Рассказы эти – с некоей грустинкой, однако грусть – светлая, полная надежд и ожиданий. Может, оттого, что написаны они во времена «оттепели», может, оттого, что сам

автор был тогда еще очень молод и в будущее смотрел с оптимизмом?

Рассказы отличает почти скульптурная выразительность, в них много визуальных эффектов, по-кинематографически прописанных эпизодов, и не случайно два ранних рассказа стали основой для полнометражных художественных фильмов. В 1969 году на «Мосфильме» режиссер Самсон Самсонов снял на основе рассказа «Я, ты, он и телефон» картину «Каждый вечер в 11». Посмотрев его, наше поколение 16-17-летних то ли подростков, то ли юношей и девушек буквально сошло с ума. Картину смотрели по нескольку раз, многие пытались подражать героям фильма (правда, в основном, безуспешно). Между прочим, проблема одиночества в современном мире, попытки найти свою половинку через виртуальное пространство, то бишь через Интернет, социальные сети, фейсбуки и твиттеры – все это с писательской прозорливостью предугадал Анар ровно полвека назад. Это я к тому, что рассказ писателя сегодня, пожалуй, даже актуальнее, чем в середине XX века. Как и пронзительная история несостоявшейся любви мужчины и женщины в «Грузинской фамилии». Помните знаменитые строки Евгения Евтушенко: «О, кто нибудь, приди, нарушь чужих сердец соединенность и разобщенность близких душ»? Эту вечную тему попытался воплотить в своем фильме азербайджанский режиссер Ариф Бабаев, сняв по сценарию Анара фильм под названием «День прошел». Хорошее название. И главное, прекрасно отражает философию этого раннего произведения – день прошел, но впереди целая жизнь, наполненная смыслом, любимой работой, мелкими и большими радостями… К сожалению, в 70-е годы оптимистические ноты в произведениях Анара затихают, и на первый план выдвигается идея всемогущего Круга – замкнутого пространства, в которое попадает человек и из которого практически нет выхода. Но об этом несколько позже…

* * *

… А пока пойдем дальше в своем путешествии по прошлому, каким оно предстает перед нами в восприятии писателя. Следующими в первом томе помещены сатирические произведения Анара, написанные… хотя под большинством из них отчего-то нет даты написания. Но я предполагаю, что эти сатирические рассказы («Цепочка», «Рука руку моет…», «Интересное исследование» и пр.) написаны в 70-е годы. Именно тогда началось закручивание гаек в литературе и искусстве, и именно тогда пышным цветом расцвело графоманство, которое сегодня выросло в огромное, плодоносящее ядовитыми цветами дерево. Это зло писатель ненавидит всеми фибрами души и развенчивает в своеобразной гротескной манере. Достается и бесталанным романистам, и не менее бесталанным критикам, и уж совсем бездарным ученым вроде Болтола Огиева. Кстати, приемы говорящих фамилий (Аваз Авазов, Жуль Иков), а также потешные подписи под сатирическими рассказами, вроде «Ловкач Потешников», напомнили мне ранние рассказы Чехова, когда Антон Павлович был еще Антошей Чехонте и тоже искусно упражнялся в потешных фамилиях...

Однако наиболее мрачной и гротескной сатирой в этом томе является знаменитая анаровская «Сказка о добром короле» – притча о некоем царстве-государстве, где правил очень добрый и очень мудрый король, который проводил свои дни, сочиняя все новые и новые запреты, причем исключительно из любви к подданным. Написана она была в начале 1970 года и явилась, как мне представляется, прелюдией, подступом к созданию Анаром собственной антиутопии, опять же в сказочной форме. Но это будет спустя 30 лет, когда на свет появится «Белый овен, черный овен». Мы поговорим об этом знаковом произведении во второй части статьи.

Что же касается «Сказки о добром короле», то у нее была интересная и очень извилистая судьба. В Баку она была благополучно издана в главном литературном журнале республики «Азербайджан». А вот с всесоюзной «обкаткой» пришлось повременить. Анар в беседе со мной так вспоминал об этом:

«Я показал ее в Москве ответственному секретарю журнала «Дружба народов» Шиловцевой, она ко мне очень доброжелательно относилась. Прочитав вещь, она сказала: «Анар, это не только не опубликуют, но ты это никому не показывай». Она считала, что это – крамольное до предела произведение. Я ответил, что у нас в Баку оно опубликовано. Реакция была шоковая: «Не может быть!» Потом я отправил рассказ в «Неделю» Макарову, и тот мне написал письмо: «Дорогой Анар, вещь замечательная, но не по нынешним временам!» Они опубликовали ее только после того, как с началом перестройки ослабла цензура…»

* * *

Несколько особняком в первом томе стоит документальный рассказ «Происшествие в полночь», написанный в 1974 году. В те годы в центральных газетах страны – «Известиях», «Литературной газете», «Неделе» – выходили судебные очерки, которые читались со жгучим интересом. Как видно, молодой писатель также решил попробовать себя в жанре документальной прозы на тему морали и права, и, надо заметить, это ему блистательно удалось. Судебный очерк о преступлении двух молодых людей, надругавшихся и едва не убивших из-за корысти пожилого фронтовика, отца 11 детей, отличает глубина анализа, четкость и яркость психологических портретов как преступников, так и жертвы, попытка найти ответ на извечные вопросы всех времен и народов «Кто виноват?» и «Что делать?» В настоящее время в нашей журналистике жанр судебного очерка практически сошел на нет. У современных авторов нет времени вдаваться в подробности, расследовать причинно-следственные связи того или иного преступления. Обозначат коллизию, выдадут очередную сенсацию с трагическим концом, благо нынче преступлений на бытовой почве пруд пруди, и закроют тему. Между тем я всегда советую молодым журналистам, которые берут у меня комментарии, хотя бы немного углубиться в материал, попытаться понять, что толкнуло того или иного индивидуума на совершение преступления и что вообще необходимо сделать всем нам, обществу, для того, чтобы подобных жутких преступлений было меньше…

Между прочим, еще в далеком 1974 году Анар с писательской проницательностью увидел одну из причин увеличивающейся бытовой жестокости в безответственности кино, телевидения, издательств, которые не должны выпускать продукцию, смакующую насилие, убийства, идеал «золотого тельца». Сегодня, когда на экранах телевизоров, в Интернете, в кинозалах идут сплошь кровавые боевики и «ужастики», когда людей, как и в пору мрачного средневековья, в массовом порядке отправляют на казнь только из-за принадлежности к той или иной религии, этот писательский призыв выглядит более чем актуальным.

* * *

…В 1976 году в 12 номере журнала «Дружба народов» была опубликована повесть Анара «Контакт», повесть, несомненно, фантастическая, с элементами сюрреализма, притчевости, мистификации. Ее заметила всесоюзная критика, о повести много писали, спорили, пытаясь разгадать замысел автора, секрет силы ее художественного воздействия.

Повесть и впрямь необычна как для всей азербайджанской литературы, так и для творчества самого Анара периода 70-80 годов. Читая и перечитывая эту повесть, где на каждой странице с героем происходит какая-то чертовщина, ты прямо физически ощущаешь холодок, который пробегает по телу от соприкосновения с неведомым. По мнению известного российского литературоведа Аллы Латыниной, горячо принявшей повесть молодого прозаика, «в парадоксальной, откровенно условной форме писатель ставит вполне реальную проблему полноты контакта человека и мира, человека и вселенной,

решению которой препятствует ограниченность ума, забитого мифами псевдонауки». А другой, не менее известный критик, Анатолий Бочаров, считает, что речь в повести вообще идет о любых формах взаимоотношения одной личности с другими, и что «контакты с внеземными цивилизациями – это прежде всего контакты друг с другом и в конечном счете – с самим собой: не бояться чуда!»

Не знаю уж, кто прав в этом споре «физиков» и «лириков», но лично на меня повесть «Контакт» произвела сильное впечатление и тогда, когда я ее прочитала впервые, и сегодня, 30 лет спустя. Прежде всего мастерством автора в описании душевных переживаний героя, буйной фантазией, ощущением собственного физического присутствия в этой странной, «экспериментальной» 20-этажке, где происходят всякие чудеса. Хотя лично я подобные чудеса, как и студент, герой повести, также недолюбливаю, поэтому в данном случае все мои симпатии на его стороне…

* * *

…Наступила вожделенная эпоха – пал «оплот зла», Азербайджан сделался независимым государством. Нет ни железного занавеса, ни райкомов и горкомов, ни какой бы то ни было идеологии. Цензуру отменили, количество средств массовой информации выросло в геометрической прогрессии, пиши о чем хочешь и как хочешь. Благодать! Вот только почему-то иронии и даже злого сарказма в сатирических рассказах Анара 90-х – начала 2000-х годов поприбавилось. «Времена года…», «Кто "dəli"? Или да здравствует свобода слова!», «Что отведал – крепкого леща!» и др. – это, по сути, фельетоны в стиле Моллы Насреддина, это Сабир и Гоголь в одном лице, это современный парафраз «Сборища сумасшедших» Мирзы Джалила. Ибо тоталитарный контроль и цензура сменились хаосом, вседозволенностью, всеобщим невежеством и бескультурьем. А на поверхности общественной жизни и политики вдруг появилось столько человеческой пены, такое несметное количество перевертышей, что впору караул кричать. И невысказанным упреком повисают в воздухе мысли писателя: «Это ли та самая свобода слова, которой мы с таким упоением ожидали?»

…И вновь особняком в этом первом томе стоит рассказ Анара «Приказы призраков в погонах», дружеская шутка-пародия на детективные романы Чингиза Абдуллаева. Этот рассказ был опубликован на знаменитой 16-й полосе «Литературной газеты», где я тогда работала собственным корреспондентом. Помню, какой он произвел фурор, а наши редакционные акулы пера единогласно признали его лучшей публикацией «Литературки» за 1996 год. Пожалуй, только в романе Василия Аксенова «Москва ква-ква» я встречала такое буйство фантазии, такую квинтэссенцию детективных штампов и стереотипов, доведенных до абсурда, до абсолюта. Этот и другие «нестандартные» рассказы – от фэнтези до сатирической публицистики – убеждают читателя в многосторонности таланта прозаика, которому в действительности подвластны все жанры, кроме скучного.

…К началу 90-х годов относятся еще два знаменитых рассказа Анара – «Красный лимузин» и «Наваждение». Написаны они в сюрреалистической манере и очень мрачны по своему настрою. Беспричинная тревога, необъяснимое беспокойство пронизывают структуру рассказов, которые в обоих случаях заканчиваются смертью главных героев – людей, живших обычной и в общем-то благополучной жизнью. Трагическими мотивами утраты, потери самого дорогого пронизана и повесть «Номер в отеле» – манифест азербайджанской интеллигенции 90-х годов. Когда ты понимаешь, что с твоей родиной сотворили чудовищную несправедливость и у тебя от этих мыслей, как у героя повести Керима Аскероглу, «дым из головы идет».

Конечно, пессимистический настрой произведений Анара начала 90-х годов XX века спровоцировали гарабахские события, массовое убийство мирных жителей 20 января в Баку, Ходжалинский геноцид, оккупация огромной территории Азербайджана. Мы все в те

годы жили ощущением конца света, надвигающегося Апокалипсиса, который мы не в силах остановить. Анар-публицист, Анар-депутат, Анар-общественный деятель в те годы яростно сражался – писал обращения, заявления, выступал с самых высоких трибун, бросая в лицо сильных мира сего справедливые обвинения. Анар-прозаик, Анар-писатель рефлексировал и вместе со своими героями погружался в пучину трагической безысходности. Ведь и последний приют, последний оплот надежды – братская Турция – разочаровал тогда многих представителей азербайджанской интеллигенции. И об этом очень честно и откровенно Анар написал в рассказе «Обязательно встретимся!..» А мне по его прочтении (в который раз!) вспомнился незабвенный Джалил Мамедкулизаде с «Книгой моей матери».

Завершая путешествие по очень пестрому, жанрово и стилистически неоднородному миру анаровской прозы, представленной в 1 томе, хочу сказать словами его давнего друга и поклонника, известного литературного критика Льва Аннинского: «…После десятилетий разлуки меня греет эта встреча. С ним. С самим собой – тогдашним. Через все теперешние барьеры…»

Словом, есть контакт!

## *Том 2. Повести. Романы*

Второй том – более солидный по объему – вобрал в себя все самые крупные произведения анаровской прозы от «Белой гавани» до повести «Амулет от сглаза». Все эти произведения – и «Юбилей Данте», и «Цейтнот», и, конечно же, знаменитый «Шестой этаж пятиэтажного дома» в свое время приобрели большую популярность как у читателей, так и у литературных критиков общего союзного пространства, поэтому недостатка в рецензиях, комментариях, обсуждениях не было. Дотошный читатель или начинающий литературный критик могут прочитать многие из этих рецензий и статей в сборнике «Анар, подсчитывающий годы» (Москва, «Маска», 2017), где собрано все или почти все значительное, когда-либо сказанное об Анаре и его творчестве.

Поэтому повторяться не буду. Для меня главное – отразить сегодняшнее впечатление, впечатление человека XXI столетия, от прочтения произведений, созданных два-три десятилетия назад. И не потерявших (порой так и хочется сказать «к сожалению!») актуальности спустя много лет.

Первая повесть, помещенная во втором томе, датирована 1965 годом. У нее два названия «Круг» и «Белая гавань». Первое название, пожалуй, точнее отражает контент повести. И кстати, не только этой. Во всех последующих произведениях Анара («Юбилей Данте», «Шестой этаж», «Цейтнот») рефреном звучит один и тот же мотив: мотив Круга как некоего упорядоченного, порой комфортного и уютного, но чаще опостылевшего пространства, где все – от рождения до смерти – регламентировано, и где нет возможности сделать шаг влево или вправо, выйдя за колею. И второй мотив: это попытки его героев, чаще всего безуспешные, вырваться из этой замкнутой реальности…

С высоты сегодняшнего дня проблема Неймата, главного героя повести «Круг», который явно тяготится своим налаженным бытом и невозможностью что-либо изменить в жизни, кажется несколько наивной. Уверена, что многие из тех, кто пережил глобальные катаклизмы конца XX столетия и ужасы Гарабаха, напротив, мечтали бы оказаться на месте Неймата. И вообще, после всего, что нам всем пришлось пережить, яснее осознаешь, что в той, прошлой жизни, где, как считает Неймат, никогда ничего не меняется, было много хорошего и светлого…

В «Круге» и в «Юбилее Данте» предметом пристального внимания писателя является обычный, заурядный, ничем не примечательный человек со всеми его большими и маленькими горестями, со всеми его проблемами, с его любовью и ненавистью. А про-

читав эти повести, понимаешь, что интереснее и значительнее, чем эта, вроде бы, заурядная жизнь обычных людей литература со времен Гоголя так и не придумала.

И потом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти заурядные люди, вроде Фейзуллы Кябирлинского, не такие уж заурядные, что они выше, интеллигентнее, нравственнее многих других героев. Оказывается, что такие, как Фейзулла, и есть та самая «соль земли», без которой наш мир давно бы полетел в тартарары. Ибо не талантом единым жив человек. А прежде всего – способностью любить и прощать… да еще самоотверженным служением избранному делу.

…Повесть «Круг» интересна как подступ, первый эскиз к будущему шедевру – роману «Шестой этаж пятиэтажного дома». Здесь вырисовываются первыми штрихами характеры Заура и Тахмины, здесь зарождается их любовь, изменившая судьбы обоих. Пожалуй, впервые в азербайджанской литературе XX века взаимоотношения мужчины и женщины показаны столь откровенно, с такой страстью и эротизмом. Представляю, как морщились литераторы старшего поколения, читая эту «крамолу», и сколько критических стрел выпустили в адрес молодого прозаика, посмевшего «так» писать о сокровенном!..

Да, образ Тахмины – красивой, свободной, жаждущей настоящей женской любви и готовой презреть ради этой любви все условности и предрассудки общества – стал подлинной литературной сенсацией. И Анар художественным чутьем понял, что должен вернуться к этой теме, чтобы создать современную версию вечной любви двоих, написать историю, которая будет способна пережить века.

Это случилось, когда спустя 8 лет после «Круга» на свет появился «Шестой этаж пятиэтажного дома». На мой взгляд, лучшее, что когда-либо создал Анар в прозе. Перечитывая историю любви Тахмины и Заура в который раз, волнуешься по-прежнему, а приближаясь к заключительным страницам, каждый раз надеешься, а вдруг на этот раз все будет по-другому? А вдруг отец и мать, тетушки и дядюшки Заура поверят в силу их чувства и отступятся, а вдруг Тахмина не умрет… и Анна Каренина не бросится под поезд… и спадет с Асли ее волшебный пояс заклятья… и будут счастливы все влюбленные мира, и их не смогут разлучить ни людская зависть, ни жестокие пересуды… и будут они жить долго и счастливо и умрут в один день.

К сожалению, такая концовка бывает только в сказках, а Анар – реалист. И потому Заур покинет Тахмину и затоскует навеки. А Тахмина погибнет из-за любви к Зауру…

Роман «Шестой этаж пятиэтажного дома», как мне представляется, это самая волнующая и романтичная история любви, созданная в азербайджанской литературе XX века. И если бы Анар ничего не написал более, он бы и тогда вписал свое имя в историю отечественной культуры…

* * *

«Цейтнот» – еще один крупный роман Анара, написанный в советское время. Он датирован 1977 годом. В стране, как потом его окрестят, царит брежневский «застой», в магазинах – повсеместный дефицит продовольственных и промышленных товаров, за всем – от пылесоса до машины – надо отстоять длинную очередь. Железный занавес ослабевает, люди все чаще ездят за границу, привозя оттуда стойкое послевкусие жизни праздника, существования в условиях всеобщего изобилия… И в этих условиях понятия успеха, материального благополучия, карьерного продвижения вверх по служебной лестнице выдвигаются для многих на первый план. А для некоторых становится возможным при этом поступаться некими принципами, которые казались святыми в период молодости и юношеского максимализма.

Внешне в романе «Цейтнот» ничего не происходит, все главное происходит в голове героя произведения Фуада Мехтиева, все внешние раздражители одного будничного дня, преломляясь в его сознании, заставляют как в проекторе прокрутить перед мыслен-

ным взором всю его не такую уж долгую жизнь. И вот ведь какая штука: Фуад вроде неплохой человек, не подлец, не невежда, он способен, инициативен, занимает, казалось бы, не чужое место. Конечно, занять это «теплое» место в системе Баксовета ему помог всесильный тесть…но ведь он справляется… и вскоре ему светит еще более престижное кресло… Но в какой-то момент плата за успех стала казаться Фуаду непомерно высокой. И ему, как и герою повести «Круг», захотелось свернуть с наезженной колеи. Что, кстати, в конце повести он с успехом и делает, хотя, может, уже на следующий день пожалеет об этом…

Нравственные дилеммы, которые стоят перед героями произведений Анара 70-х годов, сегодня кажутся нам несколько старомодными. В конце XX – начале XXI веке, когда сместились и девальвировались все моральные нормы, когда для большинства добропорядочных граждан единственным надежным ориентиром и спасением стал Его величество доллар, в угоду которому иные приносят не только интересы близких людей, но и национальные интересы целой страны, нравственные терзания Фуада Мехтиева, его духовный дискомфорт многими будут непоняты…

Хотя темы, поднятые в «Цейтноте», конечно же, всегда будут актуальны: какой путь изберет человек – путь к себе, к самопознанию, к внутренней гармонии, или же путь от себя – к самоуспокоенности, к душевной сытости и душевной же глухоте… Анар никогда не дает готовых рецептов, он дает нам единственное – надежду. Которая, как известно, умирает последней…

Анар – сугубо городской писатель, его главным героем, помимо людей, всегда является город: Баку, Абшерон, сумасшедший хазри, приморские поселки и, наконец, его величество Каспий. Город Анар может живописать без устали, равно как и море, в которое писатель влюблен и в которое заставляет влюбиться читателя. Можно без устали цитировать строки из различных произведений Анара, но я намеренно не делаю этого. Во-первых, вырванные из контекста, слова, образы увядают, блекнут, а, во-вторых – пусть вдумчивый читатель сам прикоснется и ощутит восторг от контакта с лучшими образцами пейзажной лирики Анара…

* * *

Начало XXI века представлено во втором томе двумя повестями – утопической и антиутопической сказкой «Белый овен, черный овен», а также философской повестью «Амулет от сглаза».

Честно говоря, обе повести произвели на меня не самое радостное впечатление. Наверное, я однолюб и по части литературных предпочтений все же задержалась в веке XX-м. Мне анаровский «Цейтнот» или, скажем, «Юбилей Данте» ближе как по стилистике, так и по контенту. И все же «Белый овен, черный овен»…

В сказке изображаются возможные варианты судьба родины Анара – страны Огней. В первом случае это процветающая, демократическая, суперкультурная и суперблагополучная держава, в которой решены все политические и экономические проблемы. Во втором случае это – Зона, даже три Зоны, разделенные колючими проволоками, где царят застой исламского фанатизма, коммунистическая диктатура и моральное разложение в царстве «золотого тельца». Если честно, меня перспектива жить в царстве Белого овна, где все день-деньской пляшут и поют, не очень впечатлила. Где-то я подобное уже видела, особенно когда Анар начал перечислять гигантские монументы 12-ти деятелей национальной истории, установленные в Баку, – от Араншаха Джеваншира до Джавад-хана. Ба, да ведь это Туркменбаши в Ашхабаде уже насадил по всем паркам золотые фигуры прародителей великого туркменского народа. И коммунальный транспорт вкупе с хлебом в Туркмении тоже бесплатный. Вопрос только, стали ли от этого жители страны счастливее. Что касается царства Черного овна, то мы, в принципе, в одной из Зон уже доста-

точно пожили. И про другие Зоны знаем не понаслышке, так что нас подобными мрачными сказками не испугаешь… Однако если рассуждать серьезно, то мир уже поделен на подобные Зоны. Одно «Исламское государство» с его массовыми казнями чего стоит! Или отдельно взятый «коммунистический рай», построенный в Северной Корее.

А мы сами что? Мы где находимся? Наверное, все еще на перепутье. Из царства Черного овна четверть века назад вышли, а до Белого еще не дошли. Да и достигнем ли мы этой земли обетованной когда-нибудь? Вряд ли. Хотя предупреждение умудренного опытом писателя имеющий уши да услышит…

И наконец последняя повесть, помещенная в двухтомнике, называется «Амулет от сглаза». Мистика, сюрреализм, философские рассуждения о смысле жизни, об извечной борьбе добра со злом... Кстати, прекрасный перевод Натига Расулзаде, чего не скажешь о некоторых других переводах.

Повесть, конечно, стоит особняком в творчестве Анара. Хотя у него и раньше были и мистические сюжеты, и проза абсурда, вспомним хотя бы тот же «Контакт» или рассказ «Красный лимузин» (тоже в переводе Н.Расулзаде), однако «Амулет от сглаза» отличается от них своей глубиной и насыщенностью философскими мыслями, закрученностью сюжета, смешением жанров, которые, впрочем, органично входят в произведение, делая его цельным и крепким.

Вера в чудо – вот, пожалуй, главная отправная точка, основной философский посыл повести. «Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам» – приводит автор известные слова шекспировского Гамлета, утверждая, что жизнь надо в первую очередь воспринимать сердцем, и сердце наше должно быть распахнуто для добра, для любви, для чуда. А чудо мы видим каждый день, потому что настоящее чудо – это наша жизнь. И как нельзя более кстати приводит автор высказывание Достоевского: «Человек, отвергающий чудо, тем самым отрекается от Бога, так как в чуде он нуждается больше, чем в Боге, не умея жить без чуда, он сам выдумывает чудеса и тянется к чуду, тайне, предсказаниям».

Показателен в главе 17 спор Ахлимана с автором (фактически спор человека с самим собой, спор доброго и злого начала в человеке), где последний, несмотря на все попытки оппонента заставить его свернуть с праведного пути, остается верен своим идеалам, и это можно считать своеобразным девизом произведения, призывом писателя-гуманиста к читателям, к людям, к народу и в конечном итоге – ко всему человечеству: делать добро, не бояться творить добро бескорыстно, безвозмездно, ибо царящую вокруг несправедливость можно победить лишь милосердием и прощением. Опять утопия? Может быть. Но ничего лучше человечество пока не придумало. Ибо убеждена, что не красота, а любовь спасет мир…

* * *

*Перевернута последняя страница объемного двухтомника. Завершено и мое путешествие во времени и пространстве анаровского прозы. Я не могу сказать, что оно было легким. Но поучительным уж точно. Я горевала и плакала вместе с Тахминой, пыталась вырваться из круга повседневности вместе с Нейматом, злилась вместе с Зауром, кротко обижалась вместе с Кябирлинским, пыталась вскарабкаться на Белого овна вместе с Мелик-Мамедом. И любила все человечество вместе с автором повести «Амулет от сглаза». Анар – волшебник. Он создал свой неповторимый, ни на что не похожий мир, куда хочется возвращаться вновь и вновь. И в этом – главное художественное достоинство его прозы.*

Хайфа – Баку
январь 2018г.

## НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

# *Седьмая ночь*

*Рассказ*

К своим пятидесяти годам Эмин М. вдруг осознал, что жизнь его пуста и неинтересна, профессия случайна, успехи незаслуженны, а душа полна обид. Произошло это озарение (хоть и высокопарно, но иначе не назовешь) и в самом деле вдруг, когда однажды, пасмурным осенним утром, под стук капель дождя в оконное стекло ему удалось заглянуть глубоко в себя и за считанные минуты проследить, прокрутить, пробежать всю свою жизнь, от малых лет до этого мгновения, когда, лежа в постели, он стал внезапно задыхаться от пронзившей его мысли о своей никчемности.

С тех пор с ним стали происходить странные вещи.

Недавно Эмин М. потерял родителей, сначала умерла мать, долго, тяжело болевшая, а через два месяца внезапно скончался от инсульта практически здоровый отец. И Эмин М. остался один. С женой он давно развелся, точнее, она настояла на разводе, не имея сил продолжать совместную жизнь с таким… с таким… она не находила слов, когда вынуждена была говорить о нем; сына, тогда еще пятилетнего, она забрала к себе, боясь, что отец его тоже воспитает таким… таким… опять же не находила слов – слишком нервничала, внутренне дрожала от ярости, когда вынуждена была вспоминать своего бывшего мужа… Новой женой Эмин М. не обзавелся, вторую семью до сих пор не завел, все откладывая на потом, и дооткладывался до того, что его мать перестала ворчать и пилить Эмина М. по этому поводу, да и самому ему обзаводиться стало ни к чему – слишком многими холостяцкими привычками он оброс к тому времени, а точнее: в преддверии своего юбилея.

Оставшись один и отдохнув несколько дней после тяжелого периода своей жизни, когда смерти родителей последовали одна за другой и, кроме относительно спокойно перенесенного горя, повлекли за собой множество крайне беспокоящих, суматошных бытовых проблем, каждую из которых следовало решать немедленно, Эмин М. принялся за ремонт давно запущенной квартиры, в которой всю свою жизнь – как сознательную, так и несознательную – обитал вместе с родителями. С родственниками он не был близок и друзей среди родни у него не имелось, братьев и сестер тоже не было, он был единственным чадом у отца с матерью, так что все близкие и дальние, к обоюдному удовольствию, оставили его в покое. Друзей, точнее, товарищей (я слишком долго прожил на свете, чтобы кого-то назвать другом, – с немалой долей позёрства утверждал Эмин М.) тоже было негусто благодаря необщительному характеру и постоянной, какой-то непонятной, почти болезненной отрешенности и самоуглубленности Эмина М. Был только один приятель, с которым он изредка виделся, чтобы сыграть несколько партий в шахматы или нарды, и который каждый раз старался непредсказуемое количество очков на брошенных костях при игре подвести под математически четко запланированный акт, притягивая за уши игру в нарды к интеллектуальным играм и приравнивая её к шахматам, что изредка ему удавалось; и тогда он торжествовал, произнося избитые фразы про математику и про то, что она царица

всех наук, хотя сам не имел никакого отношения к этой царице. От отца оставались деньги, и часть их Эмин М. потратил на ремонт, хотя вполне мог бы продолжать жить и в неотремонтированной квартире, потому что, будучи дома (а большую часть времени он проводил именно здесь), он, как правило, лежал на диване, уставившись в потолок и непонятно о чем размышляя, а эта часть потолка, которую обычно охватывал его неподвижный взгляд, была вполне белая и чистая, так что в ремонте квартиры не было большой необходимости. Но Эмин М. руководствовался не необходимостью и не логикой, а больше тем, что придет ему в голову, и часто это были посещения совершенно неожиданных мыслей. Итак, он начал и закончил ремонт, это хлопотное дело, о котором не хотелось в дальнейшем вспоминать, как о пережитом пожаре; но опять же в дальнейшем ничто так не притягивало его неподвижный взгляд, как часть потолка, заново побеленного и освеженного. Приходил товарищ играть в нарды, иногда они играли в шахматы, но товарищ ничего не замечал вокруг – ни свежего ремонта, ни запаха краски, ни отполированного паркета под ногами; уткнувшись в шахматную доску он занудливо утверждал, что шахматы тоже, как и игра в нарды, основаны на математической науке, и так долго это доказывал, что Эмин М. боялся спорить, чтобы не спровоцировать дополнительный поток красноречия.

Женщина, которую время от времени навещал Эмин М., постоянно пенявшая ему, что за его визитами зорко наблюдают соседи, сорокалетняя, давно разведенная особа, любящая вкусно поесть и посплетничать, по призванию гадалка, называвшая себя экстрасенсом, кажется, в душе была рада смерти родителей своего приятеля, так как ей представлялась возможность прекратить его визиты к ней и теперь самой наносить эти визиты. Она, между прочим, и настояла на том, чтобы дружочек сделал ремонт в квартире, и слабохарактерный Эмин М. пошел на поводу, не умея спорить и возражать и легко уставая от споров.

…Вот она опять пришла. Она открыла дверь своим ключом, что вытребовала у него с тайной мыслью когда-нибудь застать его со случайной девкой и устроить скандал. Он же, как всегда, не стал спорить и отдал ей запасной ключ.

– Опять валяешься на диване? – равнодушно спросила она и погрозила ему пальцем, как младенцу. – Сколько тебя помню, ты всегда валяешься на диване…

– А сколько ты меня помнишь? – спросил он заинтересованно, не желая утруждать свою память и вспоминать самому.

– Давно, давно. Вставай, пойдем пообедаем в кафе. У тебя, конечно, в холодильнике, как всегда, пусто.

После кафе, придя домой, они занимались любовью – акт, тяготивший Эмина М. своим однообразием и полнейшим отсутствием сексуальной фантазии (против чего яростно возражала она, пресекая в корне всякую попытку с его стороны хоть как-то придать большую содержательность совокуплениям); потом она говорила, что неплохо бы им пожениться (Эмин М. молчал), немного подождав и не дождавшись с его стороны никакой реакции, она напоминала, что уже поздно, что пора ей домой и обижалась, если он не отговаривал и не предлагал остаться, одевалась, раздевалась и снова ложилась в постель. И все это происходило как по давно написанному сценарию. Но порой она задавала неожиданные вопросы, впрочем, малоприятные, как и все остальное, что в последнее время особенно раздражало его.

– Как продвигается твой роман? Хотя как он может продвигаться, когда ты с утра до вечера валяешься на диване… Я гадала недавно, на картах гадала, вышло хорошо, этот роман может тебя прославить… наконец-то… если, конечно, ты его за-

кончишь когда-нибудь…

Тогда он вспоминал, как прятал от нее свои записи на бумаге, на отдельных листочках, на бумажных салфетках (лишний повод для издевок с её стороны), которые готовился переносить на компьютер; вспоминал, как недавно она обнаружила стопку исписанных листов и пришлось сознаваться, хоть он очень не любил говорить о неоконченных еще вещах, над которыми работал, и теперь для неё это сделалось еще одной темой для обсуждения, а точнее, для пустых разговоров и абсурдных советов, учитывая, что она была очень уж далека от его дел и больше двадцати лет проработала медсестрой в поликлинике. И вспомнил также, что уже давно не притрагивался к своим записям, что надо вплотную заняться, что пауза затягивается и грозит перейти в тревожный и опасный творческий кризис. Герой его романа был он сам, но, в отличие от своего создателя, от автора, у него была интересная, насыщенная, фантастическая жизнь. С недавних пор, а именно – когда стали с ним происходить непонятные вещи, Эмин М. – во сне ли, наяву ли – временами превращался в персонажа своего романа, и тогда что-то странное происходило вокруг него и в нем самом, он будто просыпался в чужом теле, сонно ощупывал своё тело, но, обнаружив, наконец, его и признав именно своим по некоторым признакам и отметинам – глубокому шраму на правом боку, оставшемуся с детства после автомобильной аварии, в которую он попал вместе с отцом, по хронически заложенному носу, вечно шершавым губам – он успокаивался, но тут вдруг начинал ощущать нечто обратное: будто знакомое, привычное тело заполнено было чужой душой, незнакомой, очень чужой, пугающей, ужасающей… И он шел во сне, куда душе этой было угодно, куда она вела его, шел, весь охваченный тревожным ожиданием непредсказуемого финала. Сюжет тут же выстраивался сам по себе, и это был не тот сюжет, что долгими ночами придумывал он, полностью доверяясь своей фантазии, сюжет, ставший уже немного привычным, обжитым, не пугающим, в отличие от того, по которому сейчас, во сне, следовало идти. И встречались люди, самые разные, самые неожиданные и давно умершие, которых он видел в детстве, и живущие рядом, по соседству, все они бесцеремонно заселяли его роман, не спрашивая хозяина, нагло, без его ведома…

…А вот незнакомый переулок, темный, ночной… Что он тут делает, зачем он пришел сюда, как тут оказался? Ведь он направлялся на работу, сел в машину, включил мотор, да, это он отчетливо помнил, и еще заранее продумывал, где поближе к работе припаркует её. А теперь…

Где машина? Он что, пришел сюда пешком? Сырая стена переулка, на уровне третьего этажа глядело темное окно. Он поднял голову и заметил в черной глубине окна бледное, очень белое человеческое лицо. Кажется, это была девушка. Увидев, что он смотрит наверх, на её окно, она отодвинулась, пропала в темноте комнаты…

– …Эй, что с тобой? Почему не отвечаешь? Ты сегодня какой-то странный… сонный… Нет, я, пожалуй, пойду. Хотела остаться, но теперь я вижу: вряд ли я тебе нужна. Оставайся сегодня один.

И через минуту он услышал стук захлопнувшейся входной двери.

…И тогда он вернулся в темный переулок с единственным выходящим сюда окном старинного дома на уровне третьего этажа; он вновь очутился в темном переулке один на один с чем-то неясным, пугающим, поселившимся в его душе, в его голове, в мозгу и старающимся диктовать ему поступки.

– Погоди! – вдруг ворвался неизвестно откуда голос приятеля. – Я еще не обдумал ход. Так мне шах, а вот так…

…Он посмотрел вверх, на ночное небо, словно голос раздался оттуда, но увидел вновь темное окно, теперь оно было распахнуто, несмотря на то, что резко похолодало, и женщина смотрела прямо на него, будто ждала с его стороны какого-то призыва. Он помахал ей рукой, хотя не хотел этого делать, а хотел как можно быстрее выбраться из этого переулка, вернуться домой (даже неизвестно было, куда теперь идти, в какую сторону, но он понадеялся на ночное такси) и лечь в постель.

– Куда ты меня завел? – спросил он, сам не понимая, к кому обращается.

– А посмотри туда, – сказал голос внутри него, постоянно, казалось бы, идущий вразрез его желаниям. – Подними голову.

Эмин М. поднял голову и увидел, как девушка в окне машет ему рукой, делает знаки, чтобы он подождал, и как тут же она исчезла из окна.

Он переминался с ноги на ногу, чувствуя, что мерзнет. Пошел мелкий снег, сухой, колючий, он падал и тут же таял на земле, потому что земля еще не выстыла как следует.

– Еще и снег выдумал, – проворчал голос неизвестного. – К чему это? Сам в тонкой обуви, мерзнешь…

Эмин М. не обратил внимания на его ворчание, торопливо зашагал к началу тупика, чтобы размять и в самом деле замерзшие ноги, и тут увидел её.

Тоненькая девушка с серьезным, слишком взрослым взглядом, делавшим её значительно старше и так не подходившим ей. Она была тепло одета, будто собралась на долгую прогулку, одета по погоде, в теплую шубу, а на голове – шапка-ушанка, в отличие от теперешних молодых людей, зимой и летом ходивших с непокрытой головой. Протянула руку она, и Эмин М. взял её за руку и своей замерзшей ладонью почувствовал приятное тепло её ладошки.

– Ну вот, сообразил, – проворчал сварливый голос. – Зачем она тебе? Ты же лет на тридцать старше. И куда теперь она тебя поведет? Сидел бы уж дома…

Эмин М. и на этот раз не обратил внимания на ворчуна и пожалел, что таскает его с собой, или, наоборот, – тот таскает его с собой, и сейчас, когда появилась эта милая девушка, очень захотелось от него избавиться.

– Что ты от меня хочешь? – сердито прошептал Эмин М. так, чтобы не слышала девушка. – Ты же сам меня привел сюда.

– Я?! Я привел тебя?! Ты слишком хорошо о себе думаешь. Хочешь свести меня с какой-то малолеткой, да еще на меня сваливаешь. Что мне с ней делать? Ей всего-то лет двадцать, если не меньше… Погляди, какая у нас разница в возрасте. А кстати, сколько мне лет? Столько же, сколько и тебе, ты обычно так пишешь?

– Ну, допустим…

– А помоложе нельзя? Хочется побеситься по-молодому.

– Нечего тебе беситься, иди вот, тебя дама ждет. Ты, между прочим, все еще держишь её руку и молчишь, как бревно.

– Дама… О чем с ней говорить?..

– Найдется о чем. Мне пора. Тут я вас и покину.

– Да, да, возвращайся к своему компьютеру и оставь меня в покое хотя бы страниц на триста.

– Ого, чего захотел! Хочешь сделаться героем романа?

– Почему бы и нет? Ты только закрути сюжет позаковыристей.

– Нет, романов в угоду моде я не пишу, я не романист.

– И очень даже напрасно. Романисты самые читаемые. И все молодые стараются разродиться именно романом, чтобы прославиться.

– Вот именно – прославиться.

– А что в этом плохого?

– Я не романист, повторяю тебе, я – рассказчик.

– Как Чехов! Хи-хи-хи…

– Я этого не говорил, и нечего хихикать.

– Не говорил, но подумал, знаю я вас, писателей. Ну, ладно, скажи мне спасибо и вали к своей работе.

– За что спасибо?

– За что спасибо?! Ни хрена себе!

– Не ругайся, я вообще-то задумывал тебя культурным человеком. Так за что спасибо?

– Ты меня достал! Не ты ли совсем недавно хныкал и жаловался на свою судьбу, что жизнь пуста, душа пуста, и что-то там еще пусто… Вот я и заполняю твою жизнь. Что молчишь?

– В какой-то степени ты прав. Но не забывай, я говорю с тобой примерно так же, как в романе Альберто Моравия «Я и Он» герой говорил… Вспомни, с кем?.. Ну, ну, ты же писатель…

– Ты хочешь сказать, что сравниваешь меня с членом? Ну, ты негодяй! А еще интеллигент… вроде бы. А еще шляпу надел.

– Ну, я пошутил, не сердись… Ты в самом деле прав, что временно заполняешь мою жизнь. И я тебе, то есть, себе – благодарен…

– Вот и вали отсюда, раз я прав. Эй, погоди, ты что, так и уйдешь?

– А как мне уходить?

– Ты ведь даже не назвал меня. Как меня зовут? Так же нелепо, как и тебя – Эмин М.? А почему, кстати, ты не пишешь полностью фамилию? Хочешь выглядеть оригинальнее, чем ты есть на самом деле? Как дешевые шоумены? Или стесняешься, что фамилия слишком обычна и проста для такой важной личности? А ты поменяй. Ты же литератор. Погляди вокруг, сколько забавных кличек понапридумывали себе наши – то есть, ваши – поэты, и носят вместо своих законных фамилий без зазрения совести…

– Разговорился, однако.

– Надо же отвести душу.

– Ты так ненавидишь меня?

– Признаюсь – ненавижу! Очень даже… И всех вас, писателей и поэтишек, ненавижу! Насмотрелись, слава Богу! Не смей делать меня тоже писателем, слышишь!? Ну так как же ты меня назовешь?

– Хочешь – Мурик?

– Что-то кошачье. Варианты есть?

– Полное имя – Мурад.

– Так бы и говорил. Годится.

– Ну, я пошел. А писателем ты будешь обязательно, потому что лучше всех я изучил их.

– Ну, ты и сволочь!

– Не злись… Прощай, писатель, хи-хи-хи, я пошел.

– Скатертью дорога.

– Буду следить за тобой.

– Вот это плохо.

– Но неизбежно. Не попади в историю. В смысле – неприятную историю.

Как только Эмин М. исчез, девушка, все это время молча слушавшая их разговор (и вряд ли что-то слышавшая, судя по выражению её лица), будто ожила, отняла свою руку у Мурада, но тут же сама взяла его под руку и повела из тупика, выходившего на небольшую площадь, увенчанную оригинально исполненным бюстом известного поэта.

– Вы не замерзли? – спросила она таким заботливым голосом, словно они были давно знакомы.

– Нет, – несколько растерянно ответил Мурад. – А вы? Довольно холодно…

– Я – нет. Я только что вышла из дому, еще не успела замерзнуть. Мне даже немного приятен этот морозец после слишком теплой квартиры. Бодрит.

– И куда мы пойдем? Сейчас сколько времени?

Она вытащила из сумочки телефон, посмотрела на него и сообщила каким-то таинственным голосом:

– Четверть первого.

– А почему шепотом? – спросил он, тоже на всякий случай понизив голос и оглянувшись на безлюдной площади, будто в поисках кого-то подслушивавшего их.

– Потому что я никогда в такое время не выходила из дому, – сказала она доверительно, словно признаваясь в невинной шалости близкому человеку.

Он так и расценил её тон и, немного осмелев, спросил:

– А сколько вам лет?

– Вам сказать правду или прибавить?

– Правду, – попросил он.

– Восемнадцать, – призналась она.

– Когда я вас увидел в окне в том переулке, вы мне показались гораздо старше, – сказал он.

– И что же – разочаровались?

– Нет, – сказал он. – Вы красивая.

– Спасибо, – она вдруг так искренне, так светло улыбнулась, что он на самом деле чуть не поверил, что они давно знакомы.

– А как же сегодня так поздно вас отпустили? – спросил он.

– Они уехали, – сказала она. – Папа и мама. Они вчера уехали на неделю, я осталась одна.

– Ясно, – сказал он и прибавил шутливо. – И вы решили не тратить времени зря и гульнуть с незнакомым подозрительным мужчиной.

Она рассмеялась.

– Во-первых, я вас давно знаю, – сообщила она загадочно, и он, не понимая, внимательно взглянул на неё чуть дольше, чем до сих пор глядел.

Но её нимало не смутил его изучающий взгляд.

– Пойдем в ту сторону, – сказала она, кивнув головой, указывая направление. – Здесь недалеко есть ночной бар, вполне приличный. Нет, не думайте, я там никогда не была. Просто знаю. Мне надо поговорить с вами.

– Поговорить? – спросил он. – А что мы делали до сих пор?

– Нет, не так, – уточнила она. – Серьезно поговорить. Ведь мы так давно знакомы, а еще ни разу не говорили по душам.

– Так давно… что? – ему показалось, что он ослышался, или же она пошутила.

Он вновь внимательно посмотрел ей в лицо, но никаких признаков улыбки, обычно сопровождавшей шутку, не заметил. Он боязливо огляделся.

– Скажите, куда я попал, где я?

– Это город, самый центр города. И перестаньте называть меня на «вы». Вот этот бар, что я говорила… Не волнуйтесь, я заплачу, у меня есть деньги…

– Я что, так плохо выгляжу? – спросил он, хотя сейчас волновало его далеко не то, как он выглядит, все было, как в тумане, как во сне – неясно, непонятно, копились вопросы, но, не желая выглядеть перед ней занудой, он выбрасывал их из головы один за другим.

– Пойдемте, пойдемте, – торопливо сказала она, как человек, который не может позволить себе тратить время зря. – Мне надо выпить, да и вам бы не мешало – замерзли на морозе. Как вы там очутились? Обычно в этот глухой переулок заходят бомжи, чтобы помочиться вдали от людских глаз. Но мне повезло: вы не бомж, вы порядочный человек, ведь правда?

«Странно, – подумал он. – Только что утверждала, что давно знает… Может, по телевизору видела, или на Фейсбуке?.. Э-э, с ней мозги вывихнешь... девчонка… Что-то сказала…».

– Вы что-то сказали?

– Как вас зовут? – повторила она.

– Мурад, – ответил он.

– Мурад, – отозвалась она, как эхо. – У меня двоюродный брат – Мурад, все зовут его Мурик. Несерьезно звучит, правда? Мне хочется выпить виски. Я как-то пила год назад и, помню, почувствовала себя так хорошо, великолепно, раскованно, язык развязался… мне надо вернуть то состояние, чтобы поговорить с вами…

– Да у вас и без виски язык…

– Да, я знаю, – перебила она торопливо, боясь, что он в свою очередь перебьет её. – Сейчас я немного взвинчена, потому… – но сама осеклась и замолчала.

Бар находился в полуподвальном помещении, был очень уютен, с неожиданным для бара камином с потрескивающими в огне дровами и приятным мягким освещением ласкающих глаз зеленых ламп.

Мурад и девушка спустились с тротуара на четыре ступени и вошли в распахнутую узкую, одностворчатую дверь бара. Было тихо, в углу сидела компания из двух девушек в черных вечерних платьях, слишком, может быть, роскошных для такого места, и мужчины в безрукавке поверх желтой рубашки и жокейской шапочке. Когда они вошли и направились к столику в другом конце небольшой комнаты, мужчина поднялся из-за стола и подошел к пианино, присел за инструмент и начал тихо играть, будто в честь новоприбывших. Но он даже не смотрел в их сторону, а девушки, бросив мимолетный взгляд на вошедшую парочку, продолжали пить вино. Одна из них курила сигарету в длинном мундштуке, другая держала на коленях большую неопрятную кошку, явно подобранную на улице. Со стороны пианино послышалась мелодия популярного блюза Скотта Джоплина «Кленовый лист». Мужчина за пианино поначалу приступил к игре робко, словно нащупывая на клавишах необходимые ноты, приноравливаясь к инструменту, пробуя его на готовность, как бы успокаивая его: одолеет ли такую чудную музыку; потом заиграл все увереннее, пальцы его забегали

по клавишам бодро и сильно, и музыка лилась, будто давно поселилась в этом старом, но верном инструменте. Потом он поднялся и вновь, даже не глянув в сторону вновь прибывших (создавалось впечатление, что он словно опасается того, чтобы они не приняли его поступок, его игру, как приветствие в свой адрес), присел рядом с девушками. Все трое молчали.

– А мне такая музыка не очень, – негромко сказала девушка Мураду. – Она не модная сейчас. Правда?

– Блюз Джоплина не моден? – тоже тихо ответил вопросом на вопрос Мурад.

Она молча пожала плечами.

– А какая вам нравится?

– Бьянка, Егор Крид…

– Даже не слышал.

– Наргиз.

– А эту знаю.

– Еще бы! По всему городу её фотки. Ожидается.

Помолчали. Мурад посмотрел в сторону пианиста с девушками. Они не разговаривали, было похоже, что каждый углубился в себя и прислушивается к звукам внутри себя, и в таком месте это выглядело немного странно.

– Вас как зовут? – спросил он.

Она вновь пожала плечами, не отвечая, и было непонятно, почему она не отвечает. Подошел официант, и она заказала себе виски.

– А вам? – спросил официант Мурада.

– Ничего, – сказал Мурад. – Или нет, принесите стакан минеральной.

Официант отошел, но тут же невероятно скоро вернулся с подносом, на котором стояли стакан с виски и бокал с водой.

«Фокусник, – подумал Мурад. – Как он успел так быстро?»

Она взяла стакан, поданный официантом, прямо из рук его, не дав поставить стакан на стол, и тут же неумело выпила содержимое, чуть не поперхнулась и, отдышавшись, посмотрела на него.

– А вы кто? В смысле – по профессии. Чем вы зарабатываете на жизнь? – спросила она.

– Я? – он ненадолго задумался, будто имел несколько профессий и не знал, какую назвать. – Пожалуй, писатель.

– Почему же – пожалуй? Не уверены?

– Не уверен. А зарабатываю на жизнь – это громко сказано. Впрочем, в детстве я мечтал стать продавцом мороженого, а если не удастся, продумал и запасной вариант – клоуном в цирке.

Она тихо рассмеялась.

– Посмотрите, как они молча сидят, – прошептала она, незаметно указывая глазами на столик пианиста с девушками. – И уже давно.

Он пожал плечами.

– Может, им нечего сказать друг другу? – предположил он.

– Всегда найдешь, что сказать, если любишь, – проговорила она непонятно к чему.

– Если любишь?.. – не понял он.

Но она не стала пояснять, видимо, и сама не поняла, почему так сказала.

– Кажется, я начинаю пьянеть, – улыбаясь, произнесла она. – Как я люблю

такое состояние. Как вы думаете, мне выпить еще?

– Нет.

– Хорошо. Мне и так хорошо. Как было год назад, когда впервые я выпила в компании виски, вернее, меня напоили, а потом парень, с которым я дружила, хотел изнасиловать меня. Представляете? В чужой квартире, в гостях… На чужом диване. Мерзко. Конечно, у него ничего не вышло, потому что он был сосунок. Вам неинтересно?

– Нет.

– Тогда вы расскажите. Расскажите о себе. Вы сказали, что в детстве хотели стать продавцом мороженого. Не жалеете, что не вышло? Что стали каким-то никому неизвестным писателем?

– Нет.

– Ну, не будьте таким букой. Расскажите мне о себе. Мне безумно интересно. Начните с детства. Тем более, что вы, можно сказать, уже начали.

– Что же вам рассказать? Ваше детство гораздо ближе, вы и расскажите.

– Нет, я знаю, для людей творческих годы детства очень важны.

– Кто вам сказал?

– Мама. Она у меня художник. Оформитель. График. Книжки оформляет. А теперь – вы…

– Детство у меня было вполне обыкновенное, – начал он. – Но потом я вырос. И со мной стали происходить разные вещи. Я женился… Потом развелся… У меня сын, уже взрослый, сам женат, недавно была свадьба… Я, пожалуй, тоже выпью…

– Хорошая мысль. Только, чур, я угощаю, – она помахала официанту за стойкой бара и показала на свой стакан, пощелкав по нему ногтем, как заправский выпивоха, завсегдатай ресторанов и баров.

Он проследил за её жестом, принял от официанта стакан (этот официант словно угадывал мысли посетителей: не успевали они заказать, он уже приносил), выпил залпом содержимое, и уже собирался продолжать свой рассказ, когда она опередила его.

– Вы как-то скучно рассказываете, – сказала она, – Совсем не по-писательски. Как будто анкетные данные выкладываете.

– Такая у меня была жизнь.

– А как же вы пишете?

– Полагаюсь на фантазию. Она у меня, слава богу, бурная, а порой и буйная.

– Вы фантастику пишете?

– Вы у меня интервью берете?

Она рассмеялась, тихо, сдержанно, в этом баре все располагало к тишине и спокойствию, была умиротворяющая аура. И, будто для подтверждения этого, теперь за соседним столиком поднялась девушка, отложив свой мундштук с сигаретой, села к пианино и стала негромко играть Гершвина из «Порги и Бесс».

– Но не могу же я врать и фантазировать, рассказывая, я говорю, как было, – сказал он. – Так что слушайте, раз напросились.

Она послушно кивнула, готовясь слушать.

– Мне давно хотелось влюбиться вот примерно в такую молодую, привлекательную девушку, как вы…

– Чтобы не обмануть ваших желаний, сразу признаюсь: я – девочка.

– Не имеет значения, – сказал он. – Я же не о сексе говорю. Секса мне хватает. У меня любовница, она на десять лет моложе, но очень опытна и развратна. Утвер-

ждает, что развратил её именно я. Не могу поверить. Она, кстати, гадалка, экстрасенс. Хотя всю жизнь проработала медсестрой в поликлинике. Недавно говорит мне: «Читай эти три слова и будешь постоянно чувствовать себя отлично: здоровья и вечной жизни». Я не хочу вечной жизни, должно быть, лет через триста это страшно надоест – жить среди чужих людей, заводить все новые и новые знакомства, провожать в могилу все новых и новых приятелей. Я хочу любви. Это единственное, чем стоит заполнить свою жизнь.

– Вот теперь уже гораздо интереснее, – сказала она. – Хотите, погуляем?

Он молча встал, полез в карман за деньгами, но она остановила его.

– Нет, я уже заплатила.

– Уже заплатила? Когда успела? Что вообще происходит в этом баре под тихую музыку?

Она, загадочно улыбаясь, молча пошла к дверям. Ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Ему показалось, что на улице, как ни странно, немного потеплело, хотя уже была глубокая ночь, или после жаркого камина в баре, к которому он сидел спиной и порядочно отогрелся, уже было не так холодно, как в переулке? Он вспомнил, что перед тем, как прийти сюда, она говорила о каком-то серьезном разговоре, что так и не состоялся, но подумал… и не стал напоминать ей.

– Ну, куда мы пойдем? – спросил он её. – И может, вы назовете мне свое имя?

– Да, пожалуйста, – сказала она таким тоном, будто делала ему одолжение, но не продолжила, и он, подождав и не дождавшись, странно поглядел на неё, на её лицо в профиль, которое она не обернула в его сторону.

Снег, переставший идти, пока они сидели в теплом баре, снова пошел – редкие, сухие, колючие снежинки. Она стала ладонями ловить их, улыбаясь, кружась, словно подражая этим снежинкам. Он остановился, глядя на неё, любуясь ею. Пока еще неясное, теплое чувство просыпалось в нем, и ему захотелось, чтобы она, как раньше, взяла бы его под руку. И, будто услышав его мысли, она, по-детски беззаботно улыбаясь ему, подбежала и взяла его за руку, и было приятно, что даже в эту холодную погоду рука её без перчатки не замерзла, а была теплой, и это тепло передавалось его руке, поднималось выше, к плечу, разливалось в сердце.

– Наверно, не стоит тебе так поздно гулять с чужим мужчиной, – сказал он шутя. – А вдруг у него самые дурные намерения насчет тебя?..

– У меня самой самые дурные… – начала она и рассмеялась, не закончив фразы. – А вам сколько лет?

– Тебе сказать правду, или уменьшить?

– Правду, – сказала она весело. – А уменьшу я сама, если понадобится…

– Скоро юбилей. Пятьдесят, – сказал он и, усмехаясь, подчеркнуто-грустно вздохнул, будто признавался невесть в каком грехе.

– О! Вы старше моего папы, – сказала она. – Но выглядите моложе. Хорошо я уменьшила?

Он притянул её к себе, и она неожиданно для него прильнула к нему, к его боку, но тут же отстранилась от потянувшихся к ней его губ. Но все вышло очень естественно, красиво, и она вновь рассмеялась, распространяя и на него свое хорошее настроение.

– Так куда же все-таки мы идем? – спросил он, глядя на её сияющее лицо и сам еле сдерживая улыбку.

– Погуляем, пока не замерзнем, – сказала она, бесшабашно размахивая рукой.

– А когда замерзнем, то что? – спросил он.

– Там видно будет, – таинственно проговорила она и назвала его по имени. – Мурик, Мур-мурик.

– Это не моя вина, – сказал он, будто оправдываясь.

– Хорошее имя – Мурад, – сказала она. – А какое бы ты хотел?

Он заметил, что она сейчас впервые назвала его по имени, но это тоже произошло очень мило и естественно, как и все, что она делала и говорила, и ему понравилось тем, что почти ставило их на одну возрастную ступень.

– По этой улице, – указала она, – мы выйдем к морю. Пошли?

– У моря сейчас холодно, – напомнил он.

– Пожалуйста, – попросила она, сделав капризное, умоляющее лицо. – Мне так хочется посмотреть на ночное море.

Было и в самом деле очень холодно, но на берегу, у самой кромки Приморского бульвара прожектор ярко освещал темные неспокойные волны, и мелкий снежок порхал в свете прожектора, а рядом стояла кучка людей, и все смотрели, как спасатели вытаскивают из воды…

– Ах! – вскрикнула она и спрятала лицо у него на груди, уткнувшись в воротник его пальто.

– Утопленник, – сказал он.

К ним, отделившись от толпы, подошел полицейский.

– Идите, не стойте здесь, зрелище не из приятных, – сказал полицейский.

– А кто этот… погибший? – спросил он.

– Пока не установлено, – сказал полицейский. – Молодая девушка. Говорят, стишки писала…

– Вот до чего доводит писание стишков, – цинично проговорил Мурад и тут же пожалел о вылетевших словах, но она никак не среагировала, будто и не слышала.

Он, уходя, оглянулся на небольшую толпу людей у кромки моря, и было такое ощущение, будто то, что он видит, повторяется; что все это уже однажды было, совсем недавно, было без него, и будто теперь специально для него повторялось, как передачи вживую повторяются на телеканале спустя некоторое время. Он потряс головой, чтобы избавиться от наваждения, но даже видеть сейчас стал нечетко: люди, вытаскивавшие труп из моря, будто растворялись, контуры перед его глазами колебались, исчезали и вновь восстанавливались, и виделось все как бы сквозь толщу неспокойной воды, сквозь сон.

Они отошли и пошли к выходу с бульвара.

– Я как-то прошлым летом тоже стал свидетелем такого происшествия, только утром… – сказал ей Мурад. – Утопился молоденький паренек. Из детдома только. Жил все время в приюте, потом вышло его время и его прогнали оттуда. Некуда пойти, никого нет, есть нечего, работы нет, воровать не умеет… Куда деваться?

– А вы откуда так много про него знаете? – спросила она.

– Да не обязательно знать, я предполагаю: от хорошей жизни топиться в семнадцать лет не будут.

– А ему было семнадцать?

– Примерно…

– Почти как мне.

– Не надо об этом думать, – сказал он и взял её за руку, ожидая тепла от её руки, но на этот раз рука её была холодной, холодней, чем у него, и он почувствовал этот холод, зябко поежился, а холод проникал все дальше, поднимался от кисти

до плеча, переходил к сердцу. И тут он заметил, как она загадочно улыбается, будто утаить хотела нечто, а он догадался, и она поняла, что он догадался. Мурад хотел что-то спросить, но осекся, так её улыбка была не к месту, непонятна, тревожна, абсурдна.

– Как и наша встреча, – вдруг произнесла она тихо.

Ему подумалось, что он ослышался.

– Ты что-то сказала?

…Внезапно до слуха Мурада откуда-то извне донесся голос:

– Ты неправильно пошел!

– Да уж сам вижу, – спокойно ответил знакомый голос Эмина М. – И зачем только я связал его с этой непонятной девушкой? Что он с ней будет делать, куда она его потащит?

– Ты о чем? На доску посмотри. Твой ферзь под ударом.

Мурад потряс головой, чтобы избавиться от непонятных слов, похожих на слуховую галлюцинацию.

«Душа моя разрывается от грусти, когда я вспоминаю… когда я многое вспоминаю… – подумал Эмин М., – когда я многое вспоминаю из своей непутевой жизни… но хватит об этом, это может далеко увести, а мне надо работать, надо придумывать, надо сочинять, это, в конце концов, моя профессия…»

Ну и пиши о том, от чего душа твоя разрывается, тебе станет легче, и напишешь, может быть, что-нибудь стоящее, вместо того, чтобы отправлять меня среди ночи неизвестно куда, сводить неизвестно с кем.

«Не твое дело! – рассердился Эмин М. – Знай свое место, советы мне даёт… Кто ты есть?»

– Вы какой-то странный, – услышал Мурад рядом с собой тихий и нежный голос девушки, и тут же забыл все язвительные слова, что готовил в ответ на грубость со стороны Эмина М. – Холодно стало. Вы мерзнете? Пойдемте ко мне. Я же знаю, вам некуда идти, иначе вы не стояли бы в такую погоду в нашем переулке, дрожа от холода и ожидая, когда я спущусь.

Мурад хотел было возразить, что ему есть куда идти, что у него неплохая квартира, к тому же недавно отремонтированная, что он в разводе с женой и у него есть взрослый сын, что теперь у него любовница, которая по вечерам охотно отзывается на его приглашения, не желая оставаться одной, как все недалекие люди, боящиеся одиночества, что у него интересная работа, незавершенная, ожидающая его на компьютере, и что он – слава богу – сам себе хозяин в этом отношении: захочет – будет работать, не захочет – будет бездельничать… Но ничего не сказал, заинтригованный её последней фразой, не возражая, боясь спугнуть только зарождавшееся в нем чувство, тонкое, прозрачное, эфемерное, могущее улететь в любой миг…

– А можно? – спросил он. – Мы никого не побеспокоим?

– Я тебе уже говорила – родители уехали и несколько дней их не будет, – напомнила она, вновь взяв его за руку и прибавив шаг, чтобы согреться. – У нас тепло. Можно зажечь газовую печь, у нас настенная печь, как во всех старых домах в нашем районе. Эти печи так могут придавать уют старым домам! Я люблю смотреть на огонь, когда смотришь на огонь, всегда такие хорошие мысли, правда? Огонь – олицетворение жизни, энергии, эмоций, огонь – это жизнь. Как и вода. Странно, две такие

разные стихии, взаимоисключающие, неуживчивые субстанции, и обе олицетворяют жизнь. Правда?

Он посмотрел на её лицо, теперь она обернулась, и он видел её лучащиеся улыбкой глаза, её губы, и сам невольно улыбнулся.

«Хорошо бы влюбиться в такую девушку», – подумал он, слишком долго задержав взгляд на её лице, так что она отвела взгляд.

– Я только по ночам могу немного прогуляться, – сообщила она. – Днем у меня занятия в институте, по вечерам обязательно звонит мама по нескольку раз за вечер на квартирный телефон, будто проверяет – дома ли я? И задает смешные, наивные вопросы: «А ты покушала? А что ты ела? А не простудилась? Спишь хорошо?» Она думает, что я все еще ребенок, и потому не звонит ночью, чтобы не будить меня, а мне уже восемнадцать, некоторые из моих школьных и институтских подруг уже повыходили замуж.

– Ну, и ты выйдешь, – заверил её Мурад. – Если, конечно, скажешь мне, как тебя зовут.

– Ты же знаешь, – проговорила она. – Зачем ты меня дразнишь… Вот мы и пришли.

И вновь он оказался возле её старого, красивой архитектуры трехэтажного дома с окном, выходящим на знакомый уже переулок. Снег теперь пошел сильнее, интенсивнее, большими хлопьями, тающими на их разгоряченных лицах, и оба с удовольствием вошли в подъезд, поднялись на третий этаж, и она отперла высокую тяжелую дверь квартиры, и он вошел вслед за ней в прихожую, довольно просторную, с красивой, дорогой ковровой дорожкой во всю длину коридора. Войдя в квартиру, он в первые минуты немного оробел: оставаться наедине с молодой девушкой посреди ночи в чужой квартире, куда бог знает кто может неожиданно заявиться; но почти сразу же дух авантюризма взял верх, он быстро освоился, прошел в просторную комнату, уставленную дорогой мебелью, с коврами на светлого паркета полу, уселся в глубокое кресло, ожидая, когда она вернется из кухни, куда пошла, пообещав заварить чай. На стенах висели картины, по всей видимости, местных художников – руку одного он узнал, и потому решил, что и все остальные местные, и были еще фотографии. Последними он заинтересовался больше, чем всем остальным, поднялся с кресла и подошел поближе к одной из них: большой фотографии девушки в рамке. Это была её фотография перед триумфальной аркой в Париже, и очень кстати на фото имелась надпись. Он торопливо извлек очки из кармана пиджака и прочитал: «Наргиз. Париж…» И дальше шла дата, которую он не успел прочитать, потому что со стороны кухни приближались торопливые шаги. Он почему-то подумал, что не должен проявлять излишнее любопытство, и потому быстро спрятал очки и сел обратно в кресло. Она вошла с подносом в руках, на котором стояли две чашки чая и ваза, полная дорогих шоколадных конфет. Она поставила поднос на стол и жестом пригласила его сесть поближе.

– А я пока разожгу печь, – сказала она, тряся в руке коробок спичек.

– Давай я тебе помогу, Наргиз, – проговорил он, намеренно подчеркивая её имя, думая удивить её, но должного эффекта не получилось, она вовсе не среагировала на прозвучавшее свое имя, будто они и в самом деле давно и очень близко были знакомы.

Он взял у неё спички и зажег газ в печи.

– А это твои родители? – спросил он, указывая на другое фото.

– Да, ты же видел… – не совсем понятно ответила она, но он не стал уточнять, промолчал.

– И давно они?.. – не успел он спросить, как она его перебила, будто мысли его читала.

– Давно они уехали?

– Да, – проговорил он, – но в общем-то…

– В общем-то тебе все равно, – вновь не дала она ему закончить, и неожиданно сердитые нотки появились в её голосе, и чем дольше она говорила, тем все более неоправданно резким и сердитым делался её голос, – Тебе все безразлично, все, что касается меня, стоит мне заговорить, ты начинаешь зевать, причем – подчеркнуто зевать, будто не понимая, что своим отношением ты оскорбляешь меня; постоянно намекаешь, что у тебя любовница, эта сорокалетняя старуха, и ты в любой момент можешь покинуть меня без сожаления, будто и не было между нами… между нами всего… всего этого… постоянно твердишь о своем сыне, давая понять, что он, а не я главное в твоей жизни… Что ж, я могу понять, сын есть сын, никто не говорит, но разве я стою между вами, разве я когда-нибудь ревновала тебя к сыну, к бывшей жене, даже к любовнице… никогда, никогда, я не так глупа, как тебе кажется.

Мурад опешил, не знал, что возразить против таких слишком неоправданно ранних и несправедливых обвинений, он не понимал, что происходит, не мог вспомнить, когда он рассказывал ей про свою личную жизнь, про своих близких, ведь всего несколько часов прошло, как они познакомились… или нет? Да, рассказывал?.. Но как мог его рассказ так болезненно затронуть её?

– Теперь уходи! – сказала она. – Мне надо остаться одной.

Он молча, мало что понимая, поднялся, вышел в прихожую, снял с вешалки пальто, оделся и направился к дверям. В дверях она остановила его, прильнула к нему, поцеловала в щеку.

– Прости меня, – проговорила она. – Не знаю, что на меня нашло. Не обижайся. Приходи этой ночью. Я буду ждать.

Он ничего не ответил и вышел, бросив на неё лишь мимолетный взгляд.

На улице было холодно. Он посмотрел на часы: было раннее утро – начало седьмого. Он прибавил шагу, на этих улочках не было ни одного такси. Он почти бегом вышел на магистральную улицу, тут дежурили два ночных такси, оба водителя сидели в передней машине и о чем-то очень оживленно беседовали. Мураду показалось удивительным, почти неправдоподобным, что в такое время, когда он, можно сказать, падает с ног от усталости, можно так энергично разговаривать. Завидев его, подходящего к переднему такси, мужчина вышел, уступая ему пассажирское место и помахал приятелю, оставшемуся за рулем машины. Через пятнадцать минут Мурад входил к себе домой, сбросил пальто и, не раздеваясь, без сил упал на кровать. Будто кто-то или что-то лишило его сил, вытянув из него всю энергию, так непривычно он утомился.

…Проснулся он поздно, во второй половине дня, обнаружил себя одетым, лежащим на застеленной кровати поверх одеяла, чувствуя, что вчерашняя усталость еще не покинула его тело: ноги ныли, болела поясница, плечи, будто вчера ему пришлось всю ночь таскать тяжести. Вспомнив про ночь, он вспомнил и её, Наргиз, как они гуляли по темным улицам, сидели в кафе, слушая музыку в исполнении чудаковатого пианиста, внешность которого он теперь никак не мог вспомнить, как ни ста-

рался: вспоминалась только жокейская шапочка, так не по погоде надетая; вспомнил её квартиру, но опять же никак не мог припомнить, где она, эта квартира и её старинный дом, архитектурный памятник, находился, хотя за свою жизнь обошел и облазил все улицы и кварталы родного города, и пожалел, что не взял адреса, потому что когда он вспомнил Наргиз, что-то шевельнулось в душе, разлилось в груди, заставив сильно забиться сердце, и ему очень захотелось повидать её вновь. Зазвенел телефон, он машинально, не открывая еще сонных глаз, привычно поискал на полу, куда на ночь клал свой мобильник, чтобы всегда был под рукой, но это звонил домашний, звонил, не переставая, требовательно и сердито. Он еле поднялся и подошел к телефону, висевшему на стене в прихожей.

– Я звонила всю ночь! – взорвалась трубка. – Где ты был? Где ты шлялся?!

– Гулял по бульвару, – сказал он, не имея сил теперь ни спорить, ни вообще говорить с ней. – Сара, перезвони попозже, у меня голова трещит.

– А!.. – услышав, что голова трещит, Сара заговорила другим, гораздо более мягким голосом. – Не надо было напиваться…

– Очень своевременное замечание, – съязвил Мурад.

– Я всю ночь не могла заснуть, думала что-то с тобой случилось, – мягко, но в то же время сердито, как выговаривают несмышленому ребенку, проговорила любовница.

– Тогда ложись и поспи, – посоветовал он.

– Очень смешно, – сказала она. – Это ты у нас свободный художник, гуляешь, куда хочешь. Я с девяти утра на работе… Сейчас сели покушать, вот, нашла минутку и позвонила.

– Спасибо, – сказал он. – Вечером поговорим.

– Мне прийти вечером? – понизив голос, видимо, чтобы не слышали посторонние, спросила она.

– Попозже скажу, хотел сегодня поработать. Созвонимся. Пока. – И Мурад положил трубку.

И в самом деле, как только он кончил говорить с Сарой, почувствовал, как неудержимо его тянет к компьютеру. Он включил компьютер, прошел на кухню, выпил холодного вчерашнего чаю и торопливо сел за работу, стараясь записать подробно все события вчерашней ночи, пока они свежи в памяти.

Получалось нечто, похожее на рассказ, но это нечто вовсе не удовлетворяло его, и он, споткнувшись на одной фразе, а именно, на той, что сказала ночью Наргиз, провожая его у дверей, разочарованно поднялся из-за стола, бросив работу, потому что именно после этого эпизода он думал написать что-то очень интересное, такое неуловимое, как не оформившаяся, но чудесная мысль, но мысль улетучилась, и он не успел её зафиксировать на экране монитора.

Тут он вспомнил свой сон, страшный сон, от которого он на несколько минут проснулся весь в поту, отдышался, не имея сил подняться и пойти на кухню выпить воды, и вновь заснул.

Он вспоминал свой сон и пребывал в каком-то очень странном, необъяснимом состоянии, но это уже был не сон, это было наяву, и он шел по приморскому бульвару, по самому ближнему к воде ярусу, где они гуляли ночью с Наргиз, но теперь было светло, наверно, часа четыре пополудни, он взглянул на часы, отвернув рукав пальто, чтобы уточнить, но часы показывали что-то несусветное: будто взбесившись, стрелки одна за другой – минутная стремительно, часовая помедленнее – вращались в обрат-

ном направлении; он почему-то снял с запястья часы и положил в карман, напоследок еще раз взглянув на циферблат: ничего не изменилось, часы так же хулиганили.

Навстречу ему шла молодая женщина, катя перед собой дорогую детскую коляску с ребенком в ней, ножка ребенка в теплом вязаном носочке высунулась из коляски и была ему хорошо видна, ребенок громко плакал в коляске, а женщина, очевидно, его мать, неторопливо шагала, толкая коляску, и, встретившись с Мурадом взглядами, улыбнулась ему, и все было как во сне, приснившемся, когда он спал в полумертвом от усталости состоянии. Не доходя до Мурада двух шагов, женщина вдруг легко подняла коляску с ребенком в ней и швырнула её в море. Мурад присел от страха, не издав ни звука и чуть не теряя сознание, но тут же вскочил и посмотрел на море – гладь воды была спокойна; а женщина миновала его и, как ни в чем ни бывало, оглянувшись, бросила удивленный взгляд на него, не понимая, почему он присел на корточки, потом вскочил и уставился на море. Он посмотрел ей вслед и увидел, как она катила перед собой коляску, и все так же плакал ребенок в коляске, и все так же торчала маленькая ножка его в вязанном носочке.

…Он вытер взмокший лоб и вновь обнаружил себя в рабочем кресле перед компьютером.

– Ты что же, хочешь, чтобы я попал в сумасшедший дом?! Что это за фокусы ты выделываешь?!

– Не мешай. Видишь, я играю в шахматы.

– Со своим другом-придурком, которому везде мерещатся математические формулы. Так что же, ты, значит, все свои проблемы и неудачи хотел переложить на меня? Легче, думаешь, станет? Но не забудь, я временный герой, сегодня есть, завтра меня забудут, и ты останешься снова со своими неудачами, которые хотел перегрузить на меня…

– В том-то и дело, что я не хочу, чтобы ты был временным… И вообще – помолчи. Ты меня отвлекаешь.

– Хочешь, чтобы я пахал за тебя, нес ответственность за тебя? Что ж… Тогда пиши дальше, но не вмешивайся в мою жизнь, я не хочу быть похожим на тебя.

…Весь вечер Мурад вспоминал дом Наргиз, в котором побывал прошлой ночью, но каким-то непонятным образом так и не мог вспомнить, где он находится, как к нему пройти, проехать, какой адрес назвать таксисту, возле чего примечательного находится этот дом. Подъезд и переулок он хорошо запомнил, но сам дом… Между тем, очень хотелось повидать её, эту девушку, при одном воспоминании о которой сердце его сладко сжималось и становилось тепло в груди. Было такое необъяснимое болезненное состояние души, будто он потерял память, частично потерял, и именно в той части, где она теперь больше всего требовалась. Весь вечер он был сам не свой, хорошо помня, что она приглашала его прийти сегодня ночью, и эта ночь таила в себе для него самые чудные, самые прекрасные ожидания и надежды… И вот теперь все это рушилось из-за какой-то совершенно нелепой ситуации, когда и ребенок мог бы запомнить то, что он, взрослый, опытный человек, забыл. Но не от него это зависело, это явно было похоже на вторжение в его память извне, на провал в памяти, связанный с другими, может, потусторонними силами, в которые до сих пор он не очень-то верил, как бы ни призывала его поверить в них его любовница, Сара.

…Так, мучаясь и сомневаясь, не в силах дольше оставаться дома, куда, кстати, внезапно, без звонка могла заявиться Сара в одиннадцать вечера и нарушить его планы (ручные часы теперь перестали беситься и показывали точное время обеими стрелками, став совсем ручными), он вышел из дома, не зная еще, куда, в какую сторону направится, пошел наугад и когда дошел до угла, где располагалась маленькая кондитерская, в которой он иногда завтракал, чуть не столкнулся с Наргиз. Увидев его, она расплылась в улыбке.

– Ты?! – одновременно опешил от неожиданности и очень обрадовался он. – Куда ты шла?

– Угадай, – игриво произнесла она и тихо рассмеялась. – К тебе же, конечно, балда! Куда же еще?..

– Ты… ты разве знаешь, где я живу? – крайне удивился он.

– Ну конечно, знаю. Вот твоя визитка, ты вчера мне дал, забыл? Я сама не звонила, чтобы сделать тебе сюрприз. Знаю, воспитанные люди предварительно должны звонить, но мне захотелось пошалить. Ты не сердишься?

– Нет! – обрадовано проговорил он и тут же восторженно, торопливо добавил: – Нет, конечно! Очень даже не сержусь!..

– Очень даже? – повторила она и рассмеялась. – Я подумала – а вдруг он забыл мой дом, не найдет… Тогда... Как же я тогда буду?... Я весь день думала о тебе и ругала себя за то, что так невежливо распрощалась с тобой, отпустила тебя.

Он не знал, что сказать, сердце его билось, как маленький зверек, ожидающий смерти.

– И я все время думал о тебе, – признался он. – Ты не выходила у меня из головы.

– Это значит, что мы любим друг друга? – так просто, как мог бы сказать ребенок, спросила она.

Он будто онемел от нахлынувшего, потопившего его, накрывшего его с головой чувства острого счастья.

Они стояли на углу и разговаривали, а через витрину кондитерской на них смотрела женщина-продавщица.

– Давай пройдемся, – предложил Мурад.

Она кивнула, глядя на него влюбленным взглядом, глаза её сияли, улыбка на лице сияла, и сияние это, казалось, озаряло все кругом, озаряло его, улицу, редких прохожих, толстую неопрятную продавщицу за витриной кондитерской, и все подряд становилось лучше, надежнее, качественнее, все становилось настоящим, не фальшивым, и источало благость и любовь, любовь и благость, любовь и любовь, то единственное, наверное, ради чего и стоило продолжать свою жизнь. И все остальное в жизни Мурада отодвинулось, отошло в тень, и там, растворяясь в становящейся все гуще тени, исчезало навсегда, чтобы дать место и оставить свет для самого настоящего. Исчезла его любовница со своей ревностью и мелкой глупостью, исчезли бытовые проблемы, делавшие совсем недавно его жизнь невыносимой и жалкой, исчезла бывшая семья, терзавшая его, отнимавшая спокойствие, мешавшая наслаждаться работой, как и следовало бы, исчезла сама работа, которую он считал важнейшей составляющей в своей (до сих пор, до встречи с этой чудесной и самой настоящей девушкой) убогой, уродливой, лишенной главного жизни.

Они все еще стояли на улице, будто боялись шевельнуться и расплескать это ослепительное чувство, одновременно охватившее их обоих.

– Да, – ответила она, не отводя от него взгляда своих лучистых глаз. – Пройдемся.

Он был переполнен самыми нежными, самыми невыразимыми чувствами и ощущал потребность говорить, высказаться перед ней. Она, словно ощутив его состояние, посмотрела на него ожидающим взглядом.

– Мы так полюбили друг друга… с первого взгляда, – сказал он, и ему вовсе сейчас не показалось странным, что он, опытный, умудренный жизнью далеко не молодой уже человек, разговаривает как несмышленый подросток.

– Только такая и бывает любовь, – просто сказала она.

– Ты так думаешь? – сказал он.

– Очень даже, – ответила она его обычным выражением и улыбнулась. – Настоящая любовь прозорлива и может многое разглядеть с первого взгляда.

– А что скажешь на это: любовь слепа и видит только то, что хочет видеть? Где же тут прозорливость?

– Любовь не слепа. Это выдумка несчастных людей, несчастных в любви, – ответила она. – Любовь беззащитна. И потому она должна быть у обоих любящих, непременно у каждого из двух любящих.

– Ты стихов не пишешь? – осторожно, несколько испуганно спросил он и улыбнулся, давая понять, что это шутка и можно не отвечать. – Просто когда ты говоришь о любви, трудно поверить, что ты такая юная.

– Это потому, что любовь делает человека мудрее, – проговорила она. – Но не в бытовом отношении, не по жизни… А по любви… – и, помолчав, прибавила: – Особенно несчастная любовь…

– А ты уже успела испытать несчастную любовь? – усмехнулся он, заглядывая ей в лицо.

Она не ответила, промолчала, улыбаясь, прильнув к его плечу.

И тут она протянула ему руку. Он, как и вчера, взял в ладонь маленькую тоненькую кисть её руки, и почувствовал тепло её сердца, которое билось также трепетно, сильно и страстно, как и его сердце, и вдруг он почувствовал, что плачет, тихо, молча плачет, слеза, не удержавшись, скатилась из глаза и покатилась по щеке до подбородка и там задержалась, будто вещественное доказательство, свидетельство, улика, подтверждающая его чувство. Может, он плакал по убогой, без любви – до встречи с ней – своей жизни, остро вдруг почувствовав никчемность зря прожитых лет, а может, это холодный ветер выжал из его глаз слезы, как уже не раз бывало?

– Это ничего, – сказала она. – Я тоже плачу.

Тогда он вытащил из кармана своего пальто её нежную ладонь, куда предусмотрительно упрятал её, чтобы сохранить такое дорогое для него тепло её прикосновений, и поцеловал её руку, потом привлек её к себе и поцеловал в губы долгим, страстным поцелуем, еще и еще раз, и она стала задыхаться, непривычная к долгим поцелуям, а он все не отпускал её, целуя прямо на улице, под завывающим холодным ветром, который становился теплым, едва достигнув её дыхания. Пошел мокрый снег, кто-то, проходя мимо, хорошо, по-доброму, рассмеялся, глядя на них, целующихся, кто-то обронил какое-то слово, видимо, завидуя, жалея, что не он целует, что не его целуют, и может быть, никогда еще не испытав таких поцелуев.

– Я хочу быть с тобой, – сказала она, с трудом оторвавшись от него. – Я хочу тебя. Обещай, что будешь нежен со мной.

– Не могу, – задыхаясь, произнес он. – Я боюсь съесть тебя, так я тебя люблю!

– Съесть? – улыбнулась она, не имея уже сил рассмеяться его шутке. – Как кошка своего котенка? Возьми такси.

Войдя к ней в квартиру, он сразу же подошел к выстывшей, пока её не было дома, печи, чтобы зажечь газ, и пока он зажигал, неуклюже и торопливо ломая спички в дрожащих пальцах и тихо чертыхаясь, она удивленно и даже испуганно смотрела на него.

– Что ты делаешь?! – спросила она испуганно.

– Зажигаю печь, милая, – ответил он.

– Ты меня пугаешь, – сказала она. – Я здесь, рядом, жду тебя, а ты зажигаешь печь? Ты любишь меня?

Он подошел к ней и крепко обнял.

– Конечно, люблю, дорогая, – сказал он и поцеловал её, но того поцелуя, что случился на улице, на углу кондитерской, уже не вышло.

– Ты правда любишь меня? – спросила она еще раз, словно сомневаясь и уточняя.

– Да, да, люблю, люблю! – заверил он её. – Очень даже люблю!

– Очень даже люблю? – спросила она серьезно, без тени улыбки.

– Конечно!

– Нет, не так, – сказала она. – Скажи: я безумно люблю тебя. Именно – безумно.

– Я безумно люблю тебя, – повторил он.

– Скажи: и ничего на свете нет, кроме тебя.

– И ничего на свете нет, кроме тебя, – повторил он и так сжал её в объятиях, что она пискнула. – Я боюсь сделать тебе больно, – сказал он. – Будет немного больно и, может быть, ты не сразу получишь удовольствие.

– Не бойся делать мне больно, я буду любить тебя еще сильнее.

Она разделась прямо перед ним, как малолетний ребенок, не стесняясь, раздевается перед взрослым, близким человеком, и приникла к нему…

– Теперь ты – мой муж, мой любимый, – сказала она, когда через некоторое время лежала в постели в его объятиях. – А ты правда безумно любишь меня?

– Безумно, – повторил он машинально, уже краешками мыслей думая, куда заведут его эти отношения с ней, что скажут её родители, когда узнают, что она полюбила человека, старше её отца, как быть с Сарой, с бывшей семьей, как вообще сложится дальнейшая судьба их отношений.

Она, почувствовав его отчужденность, чуть отстранившись от него, взглянула ему в лицо.

– Что тебя мучает? О чем ты думаешь? – спросила она. – Что не дает тебе покоя? Не думай ни о чем, главное сейчас – только мы.

– Да, – согласился он. – Ты права. – И еще раз повторил, целуя её лицо, шею, губы, глаза, желая вновь увидеть её счастливое лицо, как недавно на улице, когда над их головами закружился мокрый снег. – Ты права: главное – мы.

Но теперь на лице её проступила только глубокая усталость, утомленность, и глаза, лучащиеся совсем недавно счастьем и делавшие счастливым все вокруг, медленно гасли, утопая в наваливающемся сне.

– Мы будем видеть одинаковые сны, – пролепетала она едва слышно, но он услышал, и не мог понять, почему она так сказала.

…И ночью приснился ему страшный сон: в его квартире открыты все окна, ветер со снегом врывается в комнаты, снег ложится на пол, большие белые хлопья тают на паркете, и тут он увидел свою маму, которую не так давно похоронил, она была вся укутана во что-то белое, похожее на саван, стояла рядом с ним, маленькая, беззащитная, хрупкая старушка, смотрела на врывавшийся в комнаты снег и внезапно без единого слова повалилась на мокрый пол. Он вскрикнул от испуга: «Что с тобой, мама?! Вставай, мама, я тебе помогу!» Перетащил её тело на кровать, но это уже было только её тело. «Мама, мама, очнись!» – взывал он к ней, но все его крики были напрасны.

Он проснулся в холодном поту, тяжело дыша, и обнаружил себя в своей постели, в своей квартире, одного, одинокого, одного…

…На следующий день он снова встретился с Наргиз и все не мог выяснить, почему ночью не остался с ней, почему и как ушел от неё. Она не отвечала на его вопросы, вид у неё был отчужденный, странный, она словно боялась смотреть ему в глаза, избегала его взглядов и, провожая его, сказала:

– Послезавтра приезжают мои родители. Мы какое-то время не сможем видеться.

– Почему? – спросил он. – Не обязательно видеться у вас. Можно у меня встречаться.

– Нет, – проговорила она, помолчала и потом прибавила тихо, будто через силу, будто кто-то заставлял её сказать это: – Ты ведь уже не безумно, правда?

И тут же прикрыла ему ладонью рот, словно заранее была уверена, что он солжет.

Но, тем не менее, когда она отвела руку, он счел своим долгом сказать ей назидательно – все-таки, она ведь почти ребенок, многого не знает в жизни, не знает самой жизни:

– Ты должна понять: человек не может находиться постоянно в состоянии восторженной влюбленности…

– Почему? – спросила она с таким наивным видом, что он лишний раз уверился в своей правоте: она – сущий ребенок.

– Нельзя быть всегда безумно влюбленным, милая, - сказал он.

– Почему? – упрямо повторила она вопрос, не отрываясь глядя ему в лицо, будто надеялась и в то же время боялась, что он откроет ей сейчас эту неприятную, эту гнусную истину.

– Потому что в жизни есть многое, кроме безумной любви… – сказал он, чувствуя, как неубедительно звучат его слова даже для него самого неубедительно, просто какая-то тошнотворная кашица из слов.

– Но именно так и надо любить, – проговорила она, подумав, – Другой любви не бывает. Другое – это уже не любовь.

Он промолчал. Они лежали в постели, она положила голову ему на грудь, будто стараясь, чтобы они оба забыли это небольшое разногласие, похожее на неприятный спор.

– Расскажи мне что-нибудь, – попросила она.

– Что тебе рассказать?

– Что-нибудь из своей жизни, – сказала она.

– Из моей жизни? – он немного подумал и продолжил: – Моя жизнь не так ин-

тересна, она полна бытовых проблем, профессиональных проблем, интриг, зависти, постоянных нервотрепок… Тебе не понравится…

– Тогда расскажи о своей работе, – сказала она. – О своих фантазиях.

– Пожалуй, это лучший вариант, – одобрил он и замолчал надолго.

Она не мешала ему.

– Знаешь, великий Федерико Феллини утверждал, что фантазии – это единственная реальность. Хотя, с другой стороны, Достоевский всегда реальную жизнь ставил выше любой, самой богатой писательской фантазии. Прямо не знаешь, кому верить… – и он негромко хмыкнул, будто отмечая начало смешка.

Она поняла шутку, тихо, переливчато рассмеялась.

– Верь себе, – сказала она и потерлась, как котенок, об его грудь.

– Хороший совет, – согласился он и снова надолго замолчал.

– Ну, что ты молчишь? – чуть кокетливо-капризно спросила она. – Забыл? Спать хочешь?

– Нет. Я выбираю, что бы такое… чтобы тебе было интересно… Вот – недавно закончил сценарий, и в нем есть такой эпизод: Бог разгневался на людей за все их грехи, скопившиеся за тысячелетия, и решил их наказать, даже не наказать, а пока предупредить, что так, как они живут, жить нельзя, а надо жить по совести, которую изначально Он вложил в Человека и которую человечество потеряло. И Бог отнял у людей свет – солнца не было семь дней. Это своеобразный испытательный срок, понимаешь?

– Да, – сказала она. – Но у них ведь были лампочки, электричество?

И вновь в нем шевельнулось теплое, нежное чувство к ней, она, будто ребенок малый, смотрела на него с надеждой, боясь, как бы он в своем сценарии вместе с Богом не отнял бы у людей и электричество.

– Нет, конечно, плоды цивилизации – электричество, газ, водопровод и канализация – у людей оставались, – успокоил он её шутливо, – Но представь себе: семь дней длилась ночь, не было солнца.

– Представила, – сказала она. – Как страшно, – она поёжилась и теснее прижалась к нему.

– Ну, там много чего происходит, связанного с этим, всякие детали: разные люди, живущие в постоянном страхе, богачи, уезжающие из города в надежде, что где-то в другом месте восходы все-таки есть, преступность вырастает стократно, в зоопарке звери сходят с ума, ну и многое другое, чего тебе не буду рассказывать, потому что долго… Кстати, мелкие запоминающиеся детали и дарят произведению долгую жизнь. Зритель может не запомнить какую-то сюжетную линию, а деталь запомнит обязательно: вдруг главный герой ни с того, ни с сего встает и пробегает через всю Америку, или мальчик, протягивающий один доллар – гонорар дорогостоящему адвокату, или капля крови спрятавшегося в листве дерева человека падает на плечо преследователю, или еще что-нибудь в том же духе, вот такие вещи запоминаются… Ну вот… На чем я остановился?

– Семь дней длилась ночь, – подсказала она, внимательно слушая.

– Да! А на седьмой день люди, уже на грани безумия, собираются огромной толпой на берегу моря, скажем, на бульваре, где мы с тобой гуляли…

– И полюбили друг друга, – прибавила она сонным голосом.

– Да, и полюбили друг друга, – повторил он вслед за ней, повернул лицо и поцеловал её в голову. – И вот эта громадная толпа возле моря, сама – огромная, по-

хожая на море, – приходит на седьмой день с маленькими детьми на руках, в надежде, что Бог смилостивится хотя бы над безвинными младенцами, и когда до рассвета остаются считанные минуты, эта огромная людская толпа молча разом поднимает над головами детей лицом к восходу, и все ждут, затаив дыхание… – Мурад замолкает.

– И я жду, затаив дыхание, – вполне серьезно, распахнув испуганные глаза, из которых мгновенно улетучился сон, признается Наргиз. – Ну, что ты замолчал? – она нетерпеливо толкает его ногой под одеялом. – Бог даст им свет?

– Не знаю, на этой сцене идут титры, фильм кончается, – говорит Мурад. – То есть, пока сценарий кончается, фильма еще нет, к сожалению.

– Как страшно, – произносит тихо, испуганно Наргиз после паузы.

– Что страшно?

– Жить без солнца, без света, – опечаленным голосом отвечает она. – Что может быть страшнее, хуже?

– В нашей реальной жизни гораздо хуже иметь дело с чиновниками, которые ни черта не понимают ни в кино, ни в сценариях, – говорит он в шутку, желая отвлечь её, сгладить то неприятное впечатление, что произвел на неё его рассказ.

– А как называется?

– Сценарий?

– Да.

– Седьмая ночь, – говорит Мурад. – Ты не устала?

– Устала, – ответила она и отвернулась от него. – Ты меня напугал… – и, помолчав, прибавила: – Завтра у нас последняя ночь перед приездом родителей.

– Ты так говоришь, будто мы не можем видеться и после их приезда, – сказал он. – Кстати, мы могли бы и днем встречаться, зря мы пропустили столько дней…

– Я же объясняла тебе – днем у меня дела, я в институте, я не могу днем… И я устала, спокойной ночи, – чуть сердито проговорила она и отвернулась от него. – И не трогай меня. Я испугалась… – и она тихо, почти беззвучно заплакала.

Он не стал ничего говорить, виновато поглядел на её худенькую спину, хотел погладить, но… раздумал, отвел руку.

…Днем, посреди работы над сценарием, когда Мурад писал увлеченно, и каждый лишний звук раздражал его, пришел очень некстати Эмин М. Завидев его, Мурад поморщился, однако знал, что тот просто так не зайдет, что-то у него было сообщить Мураду.

– Пожалуй, все катится к завершению, – проговорил нежданный и непрошенный гость менторским тоном, не здороваясь с хозяином квартиры.

– Ты про меня? – спросил Мурад. – К завершению, это значит – к моей смерти?

– Зачем же так мрачно? – улыбаясь, спросил Эмин М.

– А чего от тебя еще можно ждать? Ты же всех своих героев убиваешь в финале.

– Явное преувеличение, – возразил Эмин М. – Явное и недоброжелательное. У меня, к твоему сведению, есть и комедии, где никто не умирает, а все весело продолжают жить дальше.

– Ну и что же ждет меня? – поинтересовался Мурад, стараясь казаться равнодушным, но внутренне очень волнуясь. – Что ждет нас с ней?

– Этого я не знаю, – честно признался Эмин М. – Ты теперь сам себе хозяин, и

я не могу закончить вместо тебя. Как ты, кстати, не закончил свой сценарий.

– Я очень даже закончил свой сценарий, – ответил запальчиво Мурад. – А вот, что с нами будет, очень даже меня…

– Что ты от меня хочешь?! – перебил его сердито Эмин М. – Я все тебе отдал: свою бывшую семью, свою любовницу Сару, свою работу, даже чиновников в министерстве, что вставляли мне палки в колеса… Все отдал, а ты еще и недоволен. Живи, как можешь.

– Так я же знаю тебя, – сказал в сердцах Мурад. – Напакостишь под конец. Только не трогай эту девушку. Пусть она будет счастлива. Наргиз стоит того. Она очень милая, прекрасная девушка… Тогда, может, ты поймешь, что жизнь твоя не пуста и интересна и полна лепоты…

– Ишь ты, какие слова мы знаем, – снисходительно усмехнулся Эмин М.

– Не превращай все в шутку, сделай то, что говорю, и ты почувствуешь себя нужным в этой жизни.

– Ладно, ладно, не будем об этом, – сказал Эмин М. – Прощай. Желаю удачи.

– А зачем приходил? – спросил Мурад, обернувшись, но гостя уже не было в комнате, и немного погодя Мурад вернулся к своей работе, помня, что запаздывает со сроками и последнюю неделю, можно сказать, почти не работал, потому что все его время и все его мысли были заняты любовью к Наргиз, настоящей и редкой по глубине любовью к этой замечательной девушке.

…Следующей ночью, когда они встретились, она попросила его пойти с ней в бар, где они познакомились, где были в первую ночь их знакомства.

– Ладно, – сказал он. – Только обещай, что будешь вести себя прилично, не будешь хулиганить. Платить буду я.

В баре уже не было пианино, старого, почти антикварного инструмента, на котором играл в прошлый раз молчаливый удивительный посетитель. Да и посетителя самого тоже не было. Зато бесчинствовала здесь целая ватага юнцов, что-то отмечавшая и уже опьяневшая к большому неудовольствию спокойного и уравновешенного бармена, знакомого с прошлого раза. Молодежь кричала, что-то требовала, чего, видимо, не было в маленьком этом баре, размахивала руками, топала ногами, старалась что-то запеть, старалась что-то сказать, мучила кошку, принесенную сюда с улицы, заставляя её пить шампанское, одним словом, юноши гуляли. Они недоброжелательно покосились в сторону Мурада и Наргиз, видимо, считая бар своим жизненным пространством, но пока были вполне лояльны к вновь прибывшим. Их было человек шесть… Нет, вернулся еще один с улицы и принес что-то, чего не было в баре, Мурад пригляделся и не мог разобрать, что парень прячет за спиной. Он подумал, что если наступит критический момент, он мог бы вмиг расшвырять этих сопляков, пусть только сунутся: многолетняя практика уличных драк кое-чему его научила… Но тут один из этих сопляков, тот, что пришел с улицы, красный от мороза, таинственно оглядываясь на своих товарищей, подошел к их столику и протянул Наргиз то, что прятал от всех взглядов – букет роз! Это было так неожиданно, что Мурад не нашелся, что сказать. Зато Наргиз повела себя как настоящая дама – приняла букет, тихо произнесла слово благодарности и слегка кивнула пареньку. Он, улыбнувшись, отошел к своим товарищам и ни разу больше не посмотрел в сторону Наргиз. Через несколько минут ребята вдруг собрались, расплатились и, к заметной радости бармена, покинули бар.

– В общем-то, неплохие ребята, – сказал бармен, подойдя к их столику, чтобы принять заказ. – Только пошуметь любят. Сдали экзамены, отмечают. Что вам принести?

В эту ночь они долго гуляли, так она захотела. Гуляли, пока не замерзли, пока у него не онемели от холода ноги, и он не стал шмыгать носом. Она попросила проводить её до дома и возле дома сказала ему:

– Теперь я тебя отпускаю, – она потянулась и поцеловала его в щеку.

– Надеюсь, это шутка, – сказал он. – Когда мы увидимся? Говори, дэвушка, нэ то зарэжу!

– Смешно, – сказала она и улыбнулась, хотя получилось у него не очень смешно, а натянуто, слишком наигранно, оттого, что её тон немного обеспокоил его. – Но ты уже знаешь мой дом и всегда можешь найти меня. Пока, – и она исчезла в подъезде своего старинного дома.

Он пошел искать такси, удивляясь в душе несколько странному её поведению именно в эту, последнюю ночь, после которой он уже не сможет навещать её у неё в доме с такой уютной печью с пляшущими языками огня, и досадуя, что они конкретно не договорились о дальнейших встречах у него. Но вскоре эта маленькая мимолетная странность её улетучилась, и он, сев в такси, полностью переключился на свою очередную незавершенную работу.

…Он работал, почти не выходя из дома и не отвечая на звонки Сары; время от времени, оторвавшись от работы, он внезапно вспоминал, что Наргиз не звонила уже давно, а он в перерывах между работой каждый раз звонил на отключенный её телефон и не мог понять, что происходит, почему у неё всегда телефон отключен среди дня, и вечером, и утром, когда она должна идти в институт и вполне могла бы ответить.

Время словно растянулось совершенно непонятным образом, расслоилось, будто закрытый веер, таящий в себе большие возможности, вдруг раскрывается, показывая, сколько – подумать только! – в нем содержалось скрытых тайн: заманчивые картины, невиданные звери и драконы, что прятались в узеньком пространстве закрытого веера; и теперь один день, а вернее, одна ночь вмещала в себя не одну, а много-много ночей, поглощала это большое количество ночей, в то же время реально оставаясь одной-единственной ночью, но проживать заставляла его много ночей, а не одну – многослойное время; и Мурад закончил работу, благополучно сдал новый сценарий, учтя все пожелания режиссера, ненадолго вздохнул свободно, но тут с новой силой вернулась тревожная мысль о Наргиз. Он стал названивать ей, но телефон её неизменно был отключен. Тогда он позвонил на их домашний телефон, номер которого она ему дала как-то, хотя предупредила, что в этом не будет необходимости, она всегда для него на связи на мобильном. Трубку взял её отец – тяжелый, хриплый голос. Мурад не отозвался и отключился. И когда он закончил свою работу, Мурад вдруг почувствовал такую ужасающую пустоту, что с недавних пор заполняла Наргиз, а теперь пустота эта, похожая на бездонную пропасть, в которую можно было падать всю жизнь, разверзлась перед ним, поглощала его, терзала его душу, и он не находил себе места и порой был похож на сумасшедшего, и окружающие, знавшие его долгие годы, так и думали, что Мурад тяжело заболел душевной болезнью. Пустота эта, заполнив массу ночей, на которые распалась одна-единственная ночь, давила и угнетала его. Он разругался с Сарой из-за какого-то пустяка, который забыл через не-

сколько минут после скандала с любовницей, он запретил ей приходить без предварительного звонка и запретил звонить; с режиссером, с которым работал уже далеко не над первым фильмом и все считали, что они двое создали очень крепкий и завидный творческий тандем, он тоже разругался и тоже по пустячному поводу, разорался, раскричался, не обращая внимания на его удивленные, жалостливые взгляды, какими здоровый человек обычно смотрит на неизлечимо больного; даже в магазине, куда он часто заходил за продуктами, он ухитрился поскандалить из-за того, что парень из обслуживающего персонала замешкался открыть ему дверь, когда он выходил с покупками; поскандалил с соседями с верхнего этажа за то, что в одиннадцать вечера они передвинули стул, и стук стула об пол заставил его вздрогнуть; он был весь на нервах, будто ему содрали кожу, и любое прикосновение доставляло нестерпимую боль; и когда он так подумал, он вдруг вспомнил слова Наргиз, какие однажды она ему сказала о любви – что настоящая любовь так чувствительна для сердца и всего твоего тела, будто с тебя содрали кожу, и любое грубое, не любовное прикосновение отзывается жуткой болью, а прикосновение любовное приносит исцеление и заживление. Теперь каждое воспоминание о ней было болезненно, каждый её жест, улыбку, слова он вспоминал так, будто может утратить её навеки, если сейчас же, сию минуту не предпримет что-то, а что делать, и сам не знал; и в тот день, когда должны были приехать её родители, и распадающееся на глазах время, расслоившееся, умножающее многократно самоё себя (так что казалось – он не видит Наргиз уже очень давно, тридцать, сорок дней, а не один-единственный), сводило с ума, он, не усидев дома, направился к ней узнать, если удастся, в чем дело, почему она не отвечает на его звонки, почему у неё постоянно отключен телефон, почему, в конце концов, она не может прийти, как приходила однажды в тот памятный, незабываемый вечер.

Он ходил возле её дома в те часы, когда студенты заканчивают занятия и возвращаются, надеясь, что она придет и увидит его на улице и им удастся поговорить, но её все не было. Походив так несколько часов и время от времени набирая её номер, он, валясь с ног от усталости, зашел в бар, который они посещали. Он хотел узнать у бармена, не заходила ли сюда Наргиз без него, но в последнюю минуту раздумал, выпил свой виски и вышел на улицу. Проходив до позднего вечера, когда зажегся свет в её окнах, зайдя в переулок, откуда он впервые увидел её в темном окне, он решил подняться к ней – будь что будет – еще не зная, что скажет её родителям, не придумав ничего и не желая придумывать. Но что-то сказать надо было.

Дверь открыл её отец.

– Извините, что беспокою, – сказал Мурад. – Это… это квартира Наргиз?

Мужчина долго изучающе смотрел на него погасшим, тусклым взглядом, не отвечая, наконец, спросил:

– Кто вы такой?

Мураду очень не хотелось врать, но надо было как-то выходить из положения.

– Я… я её учи… преподаватель, – сказал он, чувствуя, что краснеет, как ребенок перед взрослым человеком, хотя мужчина, открывший ему дверь, был не старше, а, по всей видимости, младше него, хоть и выглядел старше своих лет из-за заметных мешков под глазами, резких поперечных морщин на лбу, глубоко утомленного вида, словно не спал несколько суток.

Ничего не говоря, мужчина по-прежнему рассматривал Мурада, стоявшего на пороге.

Тут за спиной мужчины появилась женщина, моложавая на вид, её Мурад сразу узнал по фотографиям, которые Наргиз показывала ему.

– Что вам надо? – спросила женщина более резко и сердито, чем её муж, она была крайне недовольна, что их побеспокоили.

– Мне надо видеть вашу дочь, Наргиз, – сказал он прямо, не имея сил и желания еще что-то придумывать.

– А кто вы такой? – спросила женщина.

За него ответил её муж.

– Он говорит, что он её институтский преподаватель, – сказал он жене.

И в этих словах «он говорит» сквозило недоверие и полное равнодушие к Мураду.

– Можно я войду? – спросил Мурад.

– Что ж, входите, – посторонился мужчина, пропуская Мурада. – Какая теперь разница… – тихо проговорил он, обращаясь к жене.

– Он пьян! – резко возразила жена. – От него пахнет. Зачем ты впустил его?!

– Дело в том, – начал Мурад, проигнорировав агрессивные нападки женщины и не проходя в знакомую комнату, потому что никто его и не думал приглашать войти. – В том… что я виделся с вашей дочерью неделю назад… И всю неделю тоже… Всю эту неделю, пока вас не было… пока вы были в отъезде… А теперь она не отвечает на мои звонки, и я… я должен с ней обязательно поговорить…

И только кончив говорить, он поднял на них глаза и увидел, что и муж, и жена смотрят на него одинаковыми взглядами вытаращенных глаз, в которых застыл ужас.

– Что вы… что вы такое говорите?! – не сводя с него крайне испуганного взгляда, сказала мать Наргиз.

– Наша дочь умерла, – с трудом проговорил отец Наргиз.

– Она умерла неделю назад, – продолжила мать, и было похоже, что оба они почему-то считают, что должны поделиться этим с незнакомцем, ищущим их дочь, что может быть, поделившись с ним, они найдут временное успокоение, как бывает, когда делишься своими бедами со случайным попутчиком в дороге.

– Наргиз умерла неделю назад!? – упавшим голосом, не веря в происходящее, спросил Мурад, словно желая уточнить, словно желая убедиться, что перед ним не двое сумасшедших, сговорившихся, чтобы и его свести с ума, зная, как он любил их дочь.

– Да, – подтвердила мать Наргиз, видимо, она была крепче духом, чем муж, в глазах которого уже блестели слезы. – Да, наша дочь умерла. Мы ездили в соседний город хоронить её, мы оттуда родом, там все наши похоронены…

– Мы похоронили её рядом с бабушкой, – сказал отец Наргиз, – с моей матерью… Семь дней назад…

Мураду вновь показалось, что он ослышался, и, уже не таясь, решив идти до конца, он горячо заспорил:

– Но этого не может быть! – почти прокричал Мурад в лицо женщине, она испуганно отшатнулась. – Семь дней назад мы с ней встречались… Вот здесь встречались… И все семь дней тоже… Вот в этой квартире… Все семь дней, все семь!.. – он в изнеможение опустился на корточки, оперся об стену в прихожей, закрыл лицо руками, стараясь овладеть собой после услышанного кошмарного известия.

Муж и жена с тревогой во взглядах переглянулись.

– Я принесу вам воды, – сказала женщина, прошла в кухню и вернулась со ста-

каном воды, протянула ему стакан.

Мурад отстранил её руку, поднялся, тяжело дыша, чувствуя, что может сейчас потерять сознание, и попросил, еле ворочая языком, все еще надеясь на ошибку, которая могла бы стать чудом:

– Покажите мне… её фото…

Женщина пошла в комнату и вернулась со знакомой ему большой фотографией дочери – «Наргиз. Париж»… И теперь он отчетливо увидел дату: годом раньше. На фото, на которое он бросил торопливый, мимолетный взгляд в прошлый раз, Наргиз улыбалась и словно глубоко в душу заглядывала смотрящему на лицо её.

– Но ведь я всю неделю был с ней, – проговорил в крайнем изнеможение Мурад. – Как же это случилось? Зачем, зачем вы её отпускали в Париж?! – вдруг непонятно к чему истерично закричал Мурад, сам не понимая, что он говорит, что спрашивает, не соображая, не желая принимать эту реальность, которую эти ненастоящие фальшивые люди хотят подсунуть ему, чтобы он тоже стал ненастоящим и фальшивым.

– Успокойтесь и немедленно отвечайте: что вы делали здесь, в нашей квартире? – строго спросила мать Наргиз, но муж остановил её.

– Какая теперь разница?.. – устало произнес он. – И потом, что он мог делать, если мы как раз неделю назад её хоронили?

– Но ведь этого не может быть, – вновь жалко, умоляющим тоном повторил Мурад, чувствуя какую-то тяжкую душевную усталость, будто он пребывал во сне, и все ему снилось, все мерещилось, назойливо вплывало ему в глаза, делая его слабым и безвольным. И он не мог поверить, что это сон, и не мог поверить, что все происходящее – наяву.

– Но как… как?! – вновь со слезами в голосе вскричал Мурад, захлебываясь и утопая в водовороте невысказанных вопросов. – Как она умерла? Вы все врете!.. Вы ведь врете? Признайтесь! Как она умерла?.. – уже тихо, еле слышно произнес он последнюю фразу.

– Она… она утопилась в море… Ночью… Когда… когда мы… спали… – сказал отец Наргиз и на этот раз откровенно, не таясь, заплакал.

Жена его, все еще державшая в руке стакан, дала ему попить. Он кусал край стакана и не мог сдержать рыданий.

Мурад, как оглушенный, почти в бессознательном состоянии вышел на улицу, и тут он вспомнил бармена и пианиста в жокейской шапочке, и компанию подвыпивших студентов, и букет роз; это на миг показалось ему спасением, островком трезвости и благоразумия среди абсурдности ситуации, в которую он попал.

Он, как сумасшедший, ринулся в бар, ворвался, споткнувшись и чуть не упав со ступенек, подбежал к бару так, будто собирался наброситься на бармена за стойкой. Тот, увидев перед собой Мурада с вытаращенными глазами, отпрянул, вопросительно и испуганно глядя на странного посетителя. Мурад огляделся, мало что замечая перед собой. За двумя сдвинутыми столами сидела шумная компания иностранцев – то ли англичан, то ли американцев – мужчины средних лет, они громко разговаривали, смеялись и старались перекричать друг друга.

– Я, извиняюсь, впервые вас вижу, – удивленно ответил бармен на сбивчивые, невразумительные вопросы Мурада, которые ему приходилось повторять, чтобы его правильно поняли. – Нет, нет, вы ошибаетесь… Я впервые вижу вас… Никакого пианино здесь никогда и не было, и камина, кстати, тоже… Какой может быть камин в

таком баре, извините?.. У нас кондиционеры. Компания студентов? Пианист и две дамы? Что-то я не помню такого… К нам обычно заходят иностранцы, вполне приличные люди, извините… Может, вам что-нибудь налить? Хотите выпить? В таком состоянии не помешает, извините… Девушка с вами? Нет, нет, я бы запомнил, у меня хорошая память на лица, я бы запомнил, но я вас совсем не помню, извините… Заходили сюда час назад?! – тут бармен настороженно и внимательно, задержав взгляд, посмотрел в глаза Мураду, словно ища в них сумасшедшие искорки. – Не помню, извините… Может, куда-нибудь в другой бар заходили? Мне надо работать, извините… – и, поставив на поднос стаканы с приготовленными коктейлями, бармен вышел из-за стойки и направился к веселой компании иностранцев.

Вдруг Мурад почувствовал, что что-то трется об его ногу, он посмотрел вниз и увидел кошку, ту самую, с улицы, которую мучили студенты… Он подхватил кошку с полу и так прижал к себе, что та издала душераздирающий визг. Он подбежал с кошкой в руках к бармену, расставлявшему напитки на столе иностранцев.

– Вот эта кошка! – вскричал Мурад так, будто нашел нечто ценное. – Они её поили шампанским! Эти студенты… Вы что, может, это тоже не помните?!

Иностранцы удивленно уставились на Мурада, а один из них что-то тихо говорил им, похоже – переводил.

– Я прошу вас выйти и не беспокоить посетителей! – на этот раз жестко и без всяких лишних извинений произнес бармен. – Или я вызову полицию. Тут рядом дежурное отделение.

– А-а! Вот как! Вы все сговорились! Сговорились, чтобы свести меня с ума! – воскликнул Мурад, отбросил кошку и, тяжело дыша, уставился на бармена и на притихшую компанию за столом.

Он не помнил, как вышел из бара, как и по каким улицам шел, каким образом в эту холодную ночь – а была уже поздняя ночь – оказался на приморском бульваре, где не было ни души.

И тут он до боли явственно вспомнил, как они ходили здесь с Наргиз, и он держал её теплую руку в своей ладони; и сердце подступало к горлу и билось и трепетало там, как маленький зверек, попавший в беду.

## СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

# *БОЛГАРСКИЕ МОТИВЫ*

### *Сны о Болгарии*

**Гекзаметром протяжного прибоя**
**Окатывала амфору волна...**
**И в тишине домашнего покоя**
**Я погружался в наважденье сна.**
**И в памяти всплывали имена,**
**И оживали голоса и лица**
**Друзей, знакомых вереница,**
**Меня забывшая наверняка,**
**И музыка иного языка**
**Аукала, звала издалека,**
**И это быть могло строкой поэта,**
**Названьем улиц, городов иль рек,**
**Ещё не знавших чуда интернета,**
**До коего додумался наш век.**
**По этим улицам когда-то топал,**
**Те города я обходил не раз,**
**Элладою овеянный Созополь,**
**Несебр и нефтью пахнущий Бургас.**
**И к Витоше прильнувшая София**
**Косулю в кущах горных берегла.**
**Моя поверхностная эйфория**
**Со временем в любовь переросла.**
**Взлелеянные в Казанлыке розы**
**Будили романтические грёзы,**
**Одна из них звездою оказалась,**
**И назвала себя: «Мария Каллас».**
**Я видел море Чёрное  под Варной**
**Ненастьем омрачённым дочерна...**
**Но помнится легендой лучезарной**
**Меня в себя влюбившая страна.**
**Ворочалась у берега волна,**
**Качала снова лодки у причала,**
**И амфора гекзаметром звучала**
**В чудесном наважденье сна...**

***Январь. 2018 г.***

## *«Стоит над горою Алёша...»*

**В горах балканских властвует зима,**
**Седеют кущи, крыши и дома,**
**Гуляет над равнинами пороша.**
**Стоит увековеченный Алёша,**
**Вознесшийся над бездной снеговой.**
**Он не вернётся никогда домой,**
**В родимый край, с дороги фронтовой...**
**Он не узнает, всматриваясь в дали,**
**Что появился вдруг на пьедестале,**
**В итоге планетарных передряг**
**Фашистский ненавистный знак.**
**Он не заметит, как подошла украдкой**
**К подножию предательская тень.**
**Елозя краской гадкою в руке,**
**С коричневой начинкою в башке.**
**Не знал Алёша в праведном бою,**
**Кто бросит тень на братскую семью,**
**Что недобитая в войне чума**
**Сведет кого-то с разума-ума...**

**Но есть Болгария другая, есть,**
**Хранящая достоинство и честь!**
**Болгария, чей воин в тридцать третьем**
**Дал отповедь коричневым наветам,**
**Предвосхищая подвиги Алёш,**
**И победил коричневую ложь!**

**... Над Пловдивом куражится зима.**
**Гуляет над равнинами пороша,**
**Стоит увековеченный Алёша,**
**Восходит солнце, убегает тьма!**

## *Черешобер в Кюстендире*

*Георгию Струмскому*

**Это пиршество природы,**
**Райской щедрости пример,**
**Праздник радостной работы,**
**Названной – черешобер!**
**Это слово было ново,**
**Щекотало слух гостей,**
**Призывало вновь и снова:**
**«Угощайся! Не робей!»**

**Друг мой, уроженец здешний,**
**Подарил нам рай с черешней,**
**Благодать родной земли,**
**При участии Мими,**
**Управлявшей «Жигули».**
**А жена моя, плоды**
**Уминая, не томилась,**
**А плоды, как божья милость,**
**Услаждали наши рты.**
**Мне жена сказала просто:**
**– Знаешь, я наелась вдосталь,**
**А глазами всё же – нет...**
**Я ничуть не удивился**
**Откровению жены.**
**Мне причина стала ясной, –**
**Ведь ждала отца напрасно**
**Моя милая с войны...**

## *Старая быль*

**Властители ласкали искони**
**Лояльных и покладистых пиитов,**
**Чтоб пели вдохновеннее они,**
**Войдя в ряды пригретых фаворитов.**

**И сыпались щедроты и награды,**
**И причащались к славе меценаты,**
**Вытряхивая деньги из мошны**
**С оглядкой на правителей страны.**

**История свершила строгий суд**
**По высшему, безжалостному счёту,**
**И полетели дифирамбы к чёрту,**
**Временщиков обозначая суть.**

**... Но здесь я рассуждения прерву,**
**И возражу себе по существу:**
**Ведь были гениальные устады,**
**Не чаявшие лавров и награды,**
**Творенья их бессмертье обрели.**
**Пропетые цари и короли**
**Забвения избегнуть не смогли.**

*Практически одновременно на азербайджанском и русском языках недавно вышел в свет роман народного писателя Эльчина «Голова», ставший заметным событием в культурной жизни страны и предметом многочисленных дискуссий. И это не случайно. Роман отличается высокой художественностью, в нем сочетаются различные литературные методы, и посвящен он историческим событиям, которые предшествовали российско-персидским войнам начала XIX века, приведшим к разделению Азербайджана на Северный и Южный. В предлагаемом вниманию читателей эссе доктора философских наук, профессора Низами Мамедова раскрывается глубинный контекст данного романа, показывается переплетение в нем философских, психологических, исторических вопросов.*

**НИЗАМИ МАМЕДОВ**

# В ПОИСКАХ СМЫСЛА ИСТОРИИ: О РОМАНЕ ЭЛЬЧИНА «ГОЛОВА»

*В этой жизни определено только то,*
*что нет ничего определенного.*
***Плиний Старший***

*Куда несет нас рок событий?*
***Сергей Есенин***

Роман «Голова» – определенная квинтэссенция творчества Эльчина, он отражает представления этого писателя о ходе исторического процесса, о взаимосвязи мировоззренческих, духовных, интеллектуальных факторов, определяющих жизнедеятельность людей. Ответы на вопросы сегодняшнего дня Эльчин всегда искал в истории, в культурных архетипах. Это приводило к поискам оригинальных способов создания художественных образов, описания окружающей среды, социальных явлений. Глубокое осознание неоднозначной основы человеческого бытия обусловило в данном случае синтетический путь отображения действительности, совмещающий методы реализма, модернизма, фантасмагории.

В романе освещаются драматические события в Закавказье в конце XVIII – начале XIX веков, в период активной экспансии России на Юг. Северные страны всегда проявляли интерес к южным территориям. И Россия не составляет исключение. На Юге благоприятный климат, избыток ресурсов, выходы к «заморским странам». На пути к Югу России следовало преодолеть не только Кавказ, но и Закавказье. Представления об этом противоречивом крае, которые были доминирующими в российской элите, в романе озвучены устами наместника царя князя Цицианова: «*Это край героизма и одновременно лицемерия, мужества и продажности, глубокого философского мышления и примитивного сознания, огромных культурных традиций и мракобесия. Здесь из-за понятий чести отец может прирезать кинжалом дочь, брат – сестру, сын – мать. Здесь пятнадцати-шестнадцатилетний юнец может убить человека из-за одного матерного слова. Здесь молодая и прекрасная девушка, спрятав в складках платья маленький кинжал, может отомстить за отца или брата. Здешние горы, леса, сады пленительней, чем в Швейцарии. Родниковые воды столь же чисты и прозрачны, как воздух гор, лесов и парков. С одной стороны – это сказочный мир, с другой – арена реальных и кровавых событий, далёкая от всякой романтики*».

Сюжет романа разворачивается в историко-политическом обрамлении, которое во многом определяет внутренние коллизии произведения: изменения в жизни людей, ломка

судеб, изменения в понимании традиционных ценностей. Показывается безнадежная борьба азербайджанских ханств, грузинских царств за сохранение независимости. Все это высвечивается сквозь призму геополитики того времени, обусловленной противоположными интересами Франции, Великобритании, России и Османской империи в этом регионе. Автор проявляет исключительную эрудицию, касаясь истории Российской империи, Ирана, Грузии, ханств Азербайджана, особенностей их политики, взаимоотношений с внешним миром.

Для азербайджанского читателя роман «Голова» сопоставим по социально-исторической значимости с романом «Война и мир» Льва Толстого. Фаталистическое мировоззрение Толстого, как известно, определило всю композицию этого великого произведения. Достаточно вспомнить: Наполеон захватил полстраны, вошел без боя в Москву, пожар охватил город, а в романе устами автора внушается оптимизм, утверждается, что это на самом деле пиррова победа, поражение французов неизбежно. Действительно, русская армия побеждает и доходит до Парижа. Но если Толстой сводит причину войны 1812 года к амбициям Наполеона, его размолвкам с Александром I и создает обобщенный образ неугомонного завоевателя, то персонажи романа «Голова» предстают как фигуры на шахматной доске истории. Здесь эпоха, ее духовная, интеллектуальная атмосфера (способ мышления) определяют ход событий. И драматизм повествования в романе Эльчина определяется не столько взаимоотношениями отдельных личностей, сколько отражением характера самой эпохи. Герои Толстого представляют собой определенные типы личностей с индивидуальными характерами, они занимают соответствующее место в обществе. Герои Эльчина раскрываются исходя из индивидуального ощущения каждым из них драматизма социальной действительности, осознания неизбежности цивилизационных перемен.

«Голова» – историко-философский роман, оказавшийся чрезвычайно актуальным и востребованным именно сейчас. Его обсуждают литераторы, историки, политики, философы. В чем причина такого многогранного интереса?

Известно образное выражение, приписываемое Платону – «народ, забывший своё прошлое, не имеет будущего». Путь в будущее – это развитие в самых различных сферах на основе преемственности. Будущее поэтому не может быть принципиально новым, оно не может возникнуть из небытия, тени прошлого всегда видны в его очертаниях. История общества едина: во-первых, ее творят люди, природа которых остается практически неизменной в течение тысячелетий, и, во-вторых, несмотря на социально-политические изменения, в культуре сохраняются архаичные ценностные установки. Все это ведет к аналогичности оснований принимаемых решений в различные времена. И события, описанные в данном романе, не канули в прошлое, их последствия проявляются и в наши времена. «Голова» содействует пониманию истоков социально-политических метаморфоз сегодняшнего дня, их мировоззренческих, геополитических оснований.

(В этой связи небезынтересно отметить значение религиозных архетипических установок в истории России. Так, профессор Александр Пыжиков считает, что в качестве стержня русской истории следует рассматривать старообрядчество, которое явилось и родословной советской эпохи. «Большевистская партия распахивала объятья рабочему, сформировавшемуся в конкретной религиозной среде…представители народа несли в себе черты религиозно-психологических архетипов, которые закладывались на этапе личностного формирования». – *Пыжиков А.В. Корни сталинского большевизма. М., 2016,с.6*. На это обстоятельство обратил внимание в начале XX века и Карл Каутский, известный лидер международного социал-демократического движения. «Рабочий в России с восторгом воспринял революционное мышление, т.к., оно ярче и отчетливее выражало то, что он сам смутно чувствовал и предугадывал и пребывал в ожидании грядущей справедливой жизни». – *Каутский К. Американский и русский рабочий. Киев, 1906, с.42*).

Главный замысел Эльчина, как мне представляется, – не только художественно воспроизвести многослойную картину того времени, но и попытаться выявить силы, неявно определявшие ход исторических событий. Анализ истории позволяет убедиться, что даже

всесторонне аргументированные в свое время действия людей впоследствии оказываются наивными и нередко роковыми. Перефразируя слова Бориса Пастернака, можно сказать, что пораженья от победы человеку не дано отличить. Предпосылки этого кроются в различии горизонтов человеческого видения действительности, на основе которого принимаются решения, и масштабов реальности с многочисленными, скрытыми связями и отношениями, становящимися явными лишь спустя десятилетия и столетия. Полной ясности при принятии судьбоносных решений практически не было никогда, человеку всегда приходилось действовать в условиях единства определенности и неопределенности. Соответственно, полагаться следует не столько на ситуативные, поверхностные знания, сколько на мудрость, принимающую во внимание множество противоположных факторов, учитывающую опыт прошлого и возможные перспективы будущего. Неслучайно древние греки считали, что во главе государства должны быть мудрецы, ибо как «сова видит ночью, когда никто не видит, так и мудрецы видят то, что не видно другим». Разумеется, человеческая мудрость не гарантирует абсолютно верного решения, но она позволяет сделать более или менее приемлемый выбор из альтернативных вариантов.

Можно согласиться с тем, что масштабы истории, ее динамика однозначно не укладываются в индивидуальном сознании, и методы реализма в данном случае оказываются бессильными. В таком случае есть ли смысл продолжать описывать житейский мир в классических канонах и безуспешно искать гармонию в нем? Эльчин не идет по этому пути, он ищет новые способы художественного проникновения в подлинную суть бытия…

В романе посредником между повествованием и читателем выступает не автор, а «сознание» царского наместника, генерала Цицианова, которое отчуждается после его смерти и, приближаясь к «Богу», не только исповедуется, но и видит все происходящее на Земле в безграничном пространственно-временном измерении. Хронология событий при этом излагается не последовательно, а складывается из отдельных воспоминаний. Этот мозаичный поток мыслей в конечном итоге воссоздает видимую и невидимую стороны эпохи.

Впечатляет беспрецедентное описание отчужденного «сознания Цицианова».

«*Все ЕГО чувства находились внутри некой невесомости, – пустоты, нет, эти чувства не были внутри невесомости, невесомость была в этих самых чувствах, ибо эти чувства не были внутри, не приходили извне, ибо извне тоже не было, как не было ничего физически ощутимого, эти чувства просто разлились вокруг.*

*Впрочем, здесь (где?) не было и окружности, окружностью было всё, во все стороны была лишь одна прозрачность, и эти чувства внутри этой прозрачности были повсюду, поэтому в том видимом измерении ОН видел вокруг всё…*»

Дойдя до абсолютной истины, «сознание Цицианова» разочаровывается в хаотической, непонятной Высшему уму земной жизни, оно улетучивается, признав невозможность изменения нравов общества, его иллюзорных целей, свое бессилие перед агрессивными инстинктами людей, тянущими их в бездну.

Обращение к фантазии – необходимый в данном случае сюжетный ход, который объясняется желанием выявить суть происходящих событий, ответить не только на вопрос «Как это происходило?», но и на вопрос «Зачем это происходило?»

В книге границы реального и вымышленного не размыты, четкие натуралистические изложения переходят в мистические. События, быт, военные действия прописаны реалистично. Читателя уводят в мистический мир размышления о прошлом, возможном будущем. Время здесь – некая целостность, проявляющаяся в трех гранях: как мерило вечности, как историческое время и как отведенный обыкновенному смертному жизненный период.

В целом роман воссоздает многоликую социально-психологическую картину кульминационной эпохи в истории Азербайджана. Текст изобилует ассоциациями, эмоциональными воспоминаниями, что содействует острому переживанию событий, происходивших более двух столетий назад. Восприятие драматизма эпохи усиливает использование автором реминисценции, в частности, линейного повторения в романе стихов Моллы Панаха Вагифа:

*Я правду искал, но правды снова и снова нет:*
*Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет.*
*Друзья говорят – в их речи правдивого слова нет,*
*Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.*
*Брось на людей надежду – решенья иного нет.*

С высоким мастерством раскрыты в романе думы, страсти, нравы простых и знатных людей, исторических личностей. Созданная галерея живых образов остается в памяти: теряющий власть Гусейнкули-хан, человек с поэтической душой; его любимый племянник, мечтающий о воссоздании великого Турана, Махмуд-бек; переводчик, сторонник союза с Россией, будущий профессор Петербургского университета Шариф-бек; решительный, верный присяге князь Цицианов; интеллигентный генерал Лазарев; русский патриот, капитан Сухарев; красивая, коварная грузинская царица Мария.

Удачно дополняют художественную палитру романа образы Бабуа Арчила, дедушки Цицианова, духовно связывающего его с грузинскими архетипами; юной дочери Рыжего Чабана, ставшей жертвой похотливого, бессердечного хана – Аббаса Мирзы; крестьянина Джафара, вынужденного заниматься конокрадством, чтобы прокормить многодетную семью…

Автор не обошел вниманием и особенности женской психологии, создавая образ Натали де-Лафонжен. Она органично сочетает в себе привязанность, внимание к пожилому мужу, французскому дипломату, с любовью к Цицианову, от которого, по ее тайному письменному признанию, родила сына Мишеля. При отсутствии Цицианова она замещает его графом Тимофеем-Богоявленским. В итоге ее жизнь прошла в любовном четырехугольнике. Автор не осуждает Натали де-Лафонжен, это право он предоставляет читателю.

Эльчин не идеализирует и мужскую психологию. Так, Цицианов до конца своих дней считает графа Тимофеева-Богоявленского своим близким другом и обращается к нему не иначе, как «*мой любимый брат*». А граф всю жизнь демонстрирует двуличие, даже после ранения, будучи прикованным к постели, от злости и зависти не читает писем Цицианова.

Человеческую слабость в романе проявляет французский ботаник Андре де-Форш, которого за подозрение в шпионаже арестовывают, но благодаря ходатайству жены Фатали-шаха поэтессы Агабегим-ханым, освобождают из под ареста. В качестве благодарности он изъявляет желание опубликовать стихи Агабегим-ханым во Франции. Приехав в Париж, он присваивает ее стихи, издает их под своим именем.

Автору удалось в каждом образе отобразить типичные стороны духовной, интеллектуальной, политической атмосферы эпохи. Для русских офицеров – князя Цицианова, генерала Лазарева, капитана Сухарева, главное – высшие интересы России, которой они служат с пониманием, преданно и со знанием дела. Вот о чем мечтает, например, Цицианов: «*я хотел бы, глядя из того, иного, мира на родную Россию, видеть, что она расширилась территориально, стала обладать более высокой культурой и наукой, что она продвигается навстречу будущему ещё более стремительно и мощно. И тогда в том, ином мире… не будет человека счастливее меня*».

Исключение составляет образ психически неадекватного майора Лисаневича, назначенного за прошлые заслуги командиром Шушинского гарнизона. Как-то ему показалось, что все вокруг предатели. Он поднял своих солдат ночью и приказал расправиться с Ибрагим-Халил-ханом, его семьей и многочисленной прислугой. Солдаты, войдя в раж, расстреляли и пронзили штыками стариков и детей. Лисаневич не мог потом объяснить свои действий.

Эта трагедия имела далеко идущие последствия. Старшая дочь Ибрагим-Халил-хана, жившая в Иране, поэтесса Агабегим, просит Всевышнего о возмездии. Вот как в романе описывается эта сцена. «*Агабегим, стоя напротив ГОЛОВЫ, какое-то время молча глядела на неё, затем вдруг опустилась на колени и со страстью, вырывающейся из глубины души, подняв вверх руки, громким, мучительным от боли голосом, так, что натянулись жилы её нежной шеи, сказала, нацелив палец в сторону ГОЛОВЫ: О Всемогущий! Он – ни при чём!.. Он*

*только исполнитель!.. Отомсти за шушинскую бойню его государю! Слышишь меня?! Всю свою жизнь, день и ночь я буду молить Тебя, чтобы на глазах друг друга российский император был расстрелян вместе со своими детьми и женой!.. – Агабегим повысила голос – в этом голосе было больше повеления, нежели просьбы, мольбы: – И Ты это сделаешь! Ты слышишь меня?! Ты это сделаешь!»*

Агабегим дала волю гневу Божию. Из текста романа следует, что за безвинных жертв, спустя век, заступился Бог. Это выразилось в безжалостном расстреле в 1918г. большевиками царя Николая II и его семьи.

С точки зрения здравого смысла эти события никак не связаны. Между ними столетний временной интервал. Однако в глазах Бога, как писал Оскар Уайльд, «*прошлое, настоящее и будущее – единое мгновение*». И если обобщить вину майора Лисаневича, представить ее как следствие политики династии Романовых, ориентированной на завоевание Закавказья, то в мистическом утверждении появляется определенный резон.

В целом волевые образы русских офицеров предвосхищают неизбежность присоединения Закавказья к России, покорения проживающих здесь народов силой, ибо, как они считают, «*с кавказцами следует говорить только и только языком силы… умеренный стиль управления они воспринимают за слабость*».

Возможная просветительская роль России в этих краях в романе выражена с двух позиций: об этом рассуждает Шариф-бек и Цицианов. Шариф-бек считает, что надо найти общий язык с русскими. *«Наше единение с русскими – сегодня это путь, ведущий в науку, просвещение…Таков ход истории. Одно время миром правили арабы, наука и культура были связаны с их именами. Затем пришли османы. Но сейчас мы должны видеть и знать, что мир уже принадлежит Европе, России. Санкт-Петербург может стать для нас окном в Европу…В России открываются университеты, гимназии, школы, идет подготовка переводчиков, перекладывающих на русский язык произведения европейских учёных, писателей… И наши дети, господа, получив образование в Петербурге, Москве, в Европе, вернутся назад и в свою очередь станут просвещать народ»*.

Эту мысль подтверждает и Цицианов, но с опаской, *«конечно, пройдёт время, изменятся и здешние люди, всё более укрепляющиеся традиции русского просветительства скажутся и на них, и тогда они убедятся, что Россия состоит не только из генералов и солдат. Посредством России они откроют для себя Европу, воспримут европейские духовные ценности, приобщатся к культуре, науке. Но, думая обо всем этом, не убежден – хорошо это или плохо? А что произойдет позже? Сегодня Азербайджан разбит на мелкие ханства, по инерции раздроблена Грузия, мы объединяем их в составе России, а кто может поручиться, что завтра они, встав на ноги, не заявят: отчего бы и нам не быть самостоятельными государствами?»*

Идеи единства тюркских народов, мысли об их объединении, несмотря на их рассредоточенность, культурные различия, переданы посредством образа Махмуд-бека, который, организовав убийство генерала Цицианова, оказывается на каторге, сходит с ума, выдает себя за Атиллу и трагически погибает.

*«Заснеженные сибирские поля окутала вьюга... Ветер поднимал с земли снежную россыпь, бил в лицо вытянутых в вереницу, словно утиная стая, закованных в кандалы, одетых в тряпье узников, сопровождаемых конными конвоирами. Один из узников, чьи длинные космы слились с бородой, а брови и ресницы тоже были заляпаны снегом, на минуту придержав шаг, подняв голову, голосом, напоминающим волчий вой, крикнул: «Я – Атилла», и эхо его крика в том видимом измерении слилось с завыванием вьюги. И в тот же миг подскакавший конвоир огрел его кнутом по спине: «Пошёл!.. Пошёл!.. Едущий впереди, явно начальник конвоя, обернувшись к конвоиру, что был ближе других к Махмуд-беку, крикнул: «Заткни глотку этому безумцу!.. Слышишь?! Заткни ему рот!..» На сей раз конвоир огрел Махмуд-бека по спине уже дважды: «Хватит!.. Сказано тебе – не вой!» – и уже в третий раз сзади ударил Махмуд бека по темени...»*

Создается впечатление, что трагический конец Махмуд-бека был также предопределен Всевышним, ибо сказано: «не казните невинно мусульман или иноверцев».

Стремление найти и описать в хаосе социальной жизни, в человеческой истории единую канву, определенную логику пытались многие выдающиеся писатели – Александр Дюма, Оноре де Бальзак, Лев Толстой... Они жили во времена усиления рационального мышления, когда классические методы науки стали явно или неявно проникать в стиль мышления эпохи, в способы философского и художественного осмысления действительности. Вспомним, что с середины XIX века в философии начал доминировать позитивизм, появляется особая наука об обществе – социология. Марксизм завоевывает массы из-за однозначного прогноза о неизбежной, прогрессивной линии развития общества, ведущей к всеобщему миру благополучия и справедливости…

Наука XX века «спустила людей с небес на землю». Открытия микро- и мегамира с непредставимыми пространственно-временными измерениями, непредсказуемыми хаотическими событиями вновь вернули человека на грань неизведанного, неопределенного. Известные знания оказались ничтожными перед бесконечностью бытия.

Более того, социальная практика с ее «движением» к коммунистическому раю оказалась не только иллюзорной, но и во многом даже драматичной. В этих условиях человек, с одной стороны, стал осознавать, что ему придется в себе самом найти смысл своего существования, понять тайну своего существа, с другой – он вновь стал искать Бога, в котором надеялся найти опору и поддержку.

Итак, подтвердилась мысль, о которой догадывались великие мыслители прошлого – человечество живет в вероятностном мире. Люди смирились со своей участью жить в неведении, и они даже стали оправдывать неопределенность. «*Относительная неопределенность*, – подчеркивает Эрих Фромм, – *вещь вполне нормальная, ибо она вызывает к жизни активацию всех способностей. Определенность же уныла, ибо она мертва*».

Несомненно, на творчество Эльчина оказали влияние новые головокружительные данные космологии, свидетельствующие о случайности появления жизни и человека в мироздании, современные представления о природе человека, об истоках агрессивных качеств людей, о принципиальной непредсказуемости будущей судьбы человечества. Соответственно, в романе внимание акцентировано на ограниченности человеческого восприятия действительности, непредвиденных последствиях деятельности, на том, что амбициозность исторических личностей не позволяет им осознать, что они действуют на основе ограниченного круга знаний, односторонних ценностных установок, что очень многое в каждую эпоху остается «вещью в себе».

На фоне всего этого неизбежно возникает идея считать гуманистические устремления наивными грезами, а целенаправленную ориентацию исторического процесса на справедливое переустройство мира – безнадежной затеей…

Смысл истории мы не поймем, не выяснив природу человека. Но «*человек есть тайна*», писал Федор Достоевский. Роман «Голова» обостряет внимание к тайне человека, смыслу истории. После прочтения романа не покидает мысль: а далеко ли мы ушли от тех времен к цивилизованному миру, может ли движение в подлинно человеческий мир стать необратимым, как нам предотвратить рецидивы, всплески варварства – этой «наследственной болезни» человечества…И все же возникает соблазн искать пути созидания общества, в котором царит гармония человеческих отношений, где «инстинкт разума» довлеет над «инстинктом агрессивности». В мотивации этих высоких целей, на мой взгляд, ценность данного романа.

## ГЮЛЬШАН ТОФИГГЫЗЫ

# Р А С С К А З Ы

## *«Соломенное наследство»*

1

– Подсоби, сынок, – пожилой селянин кряхтел и прикусывал губу, словно от боли, пытаясь взобраться на неширокую доску около извозчика. Всё остальное пространство повозки было занято плотно спрессованным, переложенным ветками для устойчивости и перетянутым пеньковыми бунтами сеном. – Ногой маюсь. Ни согнуть, ни разогнуть, будь она неладна!

– Куда ещё неладней! – скривил рот юноша, хозяин телеги. Не выпуская из рук вожжей, он оттопырил локоть, чтоб старик мог за него ухватиться. – И что тебе, хрычу колченогому, дома не сидится? Стемнеет скоро, а он пердит-ковыляет, пыль поднимает.

Старику наконец удалось влезть на телегу. Неучтивость юноши покоробила его: со старшими, хоть и незнакомыми, повежливей бы надо! Но выбора у старика нет. Он не стал выговаривать молодому невеже, опасаясь, что тот передумает подвозить его. Попыхтел, устраиваясь на тесной сидушке, вытащил тряпицу из котомки, отёр пот с лица да пыль с бороды. Снял старую баранью папаху, вытряхнул, но не стал надевать обратно сразу, желая просушить немного белый платок под ней, повязанный на деревенский манер. Ехали молча. Юноша не смотрел в сторону седока. Похоже, что беседовать с попутчиком не очень-то хотел. Подобрал – и ладно. Камень, попавший под колесо, тряхнул телегу. Старик едва удержался, схватив юношу за плечо.

– Полегче, дядя! Руку оторвёшь, – буркнул возница. Он резко одёрнул плечо, рука старика соскользнула. Мужчина негромко вскрикнул, пытаясь сбалансировать, ухватился за кипу сена, но на этот раз не удержался и свалился с повозки. Юноша натянул вожжи и остановил мула. – Да чтоб тебя! – прошипел он, не оборачиваясь в сторону упавшего с телеги старика. – Лезь, давай! Недосуг мне с тобой время терять. Весь день всё наперекосяк!

Увидев, что старик мешкает, молодой человек нехотя спрыгнул с повозки, обошёл её, чтоб помочь упавшему старику встать, да и обомлел: мужчина лежал на спине, раскинув руки и вперив обесцвеченные годами глаза в предзакатное небо. Белый платок на его голове начал краснеть от крови, под затылком темнел большущий камень, наполовину ушедший в землю.

– Только этого мне и не хватало! – скорее злобно, чем сочувственно, произнёс юноша. Он нагнулся, снял котомку с плеча старика. Хотел заглянуть в неё, и тут заметил выцветшую ленту на шее старика под распахнувшимся воротом застиранной деревенской рубахи. Юноша поддел ленту пальцем. На ней, крепко привязанный, болтался небольшой, похожий на кисет для табака, холщёвый мешочек.

– Раз не в торбе, значит, что-то ценное, – смекнул юноша. Он подошёл к телеге, запустил руку под сено, достал оттуда короткий самодельный клинок, прилаженный к деревянной ручке, срезал ленту, раскрыл мешочек и высыпал на ладонь содержимое. Девять золотых монет!.. У юноши аж дух перехватило. Он изумлённо смотрел то на монеты, то на умершего старика. Оглянулся вокруг. Дорога была пуста, окрестности тоже. Заглянул на всякий случай и в котомку. Там лежало какое-то тряпьё и записка. Юноша развернул её. Читал он с трудом. Написанное арабской вязью было городским адресом.

«Кябира, дочь Ага-Мирзы», – запинаясь, прочёл юноша. Вероятно, содержимое холщёвого мешочка предназначалось этой самой Кябире. Юноша задумался. Ненадолго. Всего на мгновение. На самую малость…

– Прости, старик, сам виноват. Нечего было с такими деньгами одному по дорогам шляться. А что, если грабители напали бы?.. Видит бог, ты сам помер. Не судьба, видно, Кябире, дочери Ага-Мирзы, гостинец от тебя получить. Мой гисмет!

С этими словами молодой человек изорвал на мельчайшие кусочки исписанный листок, спрятал под сено нож, залез на повозку, а мешочек с монетами затиснул под сидушку. Он заторопился. Солнце почти скрылось за лысыми вершинами уснувших столетия назад холмов-вулканов. До посёлка осталось всего ничего. Что делать? Сообщать о смерти незнакомца в жандармерию? Не стоит – затаскают! А ещё хуже – засудят ни за что, на каторгу сошлют. И с монетами расстаться придется, уж точно! Нет, не для того повстречался ему этот глупый старикашка. Судьба наконец сжалилась над ним за мозоли на ладонях и занозы на ступнях, за грубость и нелюбовь отца, за невзгоды, отчаяние, отсутствие надежды. Вот оно – на, бери! Теперь это твоё… распорядись с умом…

Юноша подстёгивал мула кизиловым прутом и уже строил планы. О том, как скоро – не сразу! – купит керосиновую лавку и небольшой виноградник, как будет шаг за шагом расширять дело, налаживать торговлю и… Ну, там время покажет… Он снова хлестнул мула. А потом ещё и ещё. Всё сильней и сильней. Бедное животное не могло понять причин такой внезапной ярости хозяина – ведь оно добросовестно и безропотно, как и полагается бессловесной скотине, выполняет свою работу. Хозяин хлестал и хлестал, будто наслаждаясь своей злобой, отгоняя таким образом рвущиеся к его душе искорки совести. Несчастный мул, лишённый возможности увернуться, принимал на свою старую шкуру обжигающий хлестопад неправедного гнева. Повозка с сеном удалялась всё дальше от лежащего на пыльной обочине мёртвого старика, вперившего в небо безжизненный взгляд.

Когда молодой саманщик сгружал привезённое сено в амбар, было уже почти темно. Лёгкие сполохи и глухие звуки далёкой грозы предвещали дождливую ночь. Вовремя он, однако, добрался.

– Оставь, я сам распрягу, – остановил юноша работника, помогавшего ему укладывать в амбар сено. – Иди, скажи хозяйке, что я скоро подойду, пусть накрывает.

– Так поели уже все. Хозяин не велел вас ждать. Матушка вам оставила там, на крышке тандыра миска стоит. Чтоб не стыло.

– Мухи, небось, отъели половину, – злобно процедил сквозь зубы саманщик. Вот она, цена ему в родном доме! Батракам и то посвежее и погорячее харчей достаётся.

– Нет, хозяйка прикрыла. Там и чурек свежий. Она его в полотенце завернула. Славный чурек ваша матушка печёт. Просто объеденье! Дай ей бог здоровья!

Работника не удивила грубость юноши. Устал, поди. Хотя «сахара под языком» не держал никогда. Будто и не знал добрых слов. Такой молодой ещё, а злобный, как пёс. Разве что не кусается.

Когда работник вышел из амбара, саманщик извлёк из-под сидушки холщёвый мешочек с девятью монетами и пристегнул его медной булавкой к порткам изнутри. Матушкин оберег, снятый с булавки и по неловкости обронённый, в темноте уже не сыскать. Решил подобрать его утром. Скорей бы добраться до миски теплой ещё чечевичной похлёбки с кусочками бараньего сала, умять добрый кусок вкуснейшего чурека, испечённого заботливой матушкиной рукой – и спать! Уснуть поскорее, забыть события последних часов, мёртвого старика, оставленного на обочине, уничтоженную записку с адресом Кябиры, дочери Ага-Мирзы, потёртую котомку с незатейливыми бедняцкими гостинцами. Сбросив стоптанные чухи, полосатые штаны и кургузый кафтанишко, юноша лёг на один из уложенных в ряд матрасов, растолкав сопевших и храпевших младших братьев. Уснул сразу, едва голова коснулась пёстрой подушки. Керосиновая лампа в глубокой нише едва светила, фитилёк был почти сух – отец требовал жёстко экономить керосин. Как, впрочем, и всё остальное. Вот уж разинет рот старый скряга, когда он подарит ему бочку керосина. Скоро, когда начнёт торговать. Старый жлоб не был ему родным отцом. Его женили на вдове старшего брата, как было предусмотрено правилами шариатского «домостроя». Овдовевшая сноха уже имела двухлетнего сынишку. Обычное по тем временам дело… Ну, ничего! Скоро вся эта осточертевшая убогость закончится…

Юноша спал крепко, словно растворился... Без снов. Проснулся так же внезапно, как и уснул. Будто мгновение прошло! Что там говорят про муки совести, лишающие сна и покоя? Когда изо дня в день к вечеру не чувствуешь ног от усталости, ладони горят, как обожжённые, спину не подогнуть от боли, а воздержание от приёма пищи во время поста мало чем отличается от всех остальных не больно сытых дней… Что там совесть!..

Голос муэдзина уже призывал жителей посёлка к утреннему намазу. Отец совершил омовение и расстилал молитвенный коврик на веранде. Работник, наколотивший щепок для самовара, успел и в амбаре прибраться. Он вымел во двор остатки соломы и сжёг их у стены. Кучка соломы и мелких веток сгорела быстро, и теперь над ней вился тонкой струйкой дымок. Где-то там, внутри этой кучки, тлел и матушкин оберег…

## 2

Красивая сероглазая, статная женщина тридцати пяти лет неспешно спускалась по широкой мраморной лестнице роскошного дома нефтепромышленника Мусаева. Дом, построенный специально для неё и приуроченный к её тридцатилетию, мог бы потягаться великолепием с апартаментами самых богатых и знатных мужей современности. Дом всё тех же Ротшильдов, например, уступал на порядок. Нефтяной бум конца XIX– начала XX века не просто сдул многовековую пыль с крепостных стен прикаспийской столицы, но и сделал её одним из самых неповторимых, восхитительных и привлекательных городов Империи. Каждое из десятков зданий, построенных в последние десятилетия, доныне украшает город – корону Абшеронского полуострова, словно драгоценный камень.

Дома нефтяного короля Мусаева по праву считаются архитектурными шедеврами, а уж о богатстве внутреннего убранства и говорить не приходится. Дом, по-

даренный стариком Мусаевым молодой зазнобушке, – предмет её особой гордости.

Заставляя посетителей терпеливо ждать, пока хозяйка, увитая воздушными кружевами и жемчугами, соизволит спуститься, она упивалась собственным шармом. Она часами вырабатывала «царственную» походку перед огромными венецианскими зеркалами в позолоченных рамах. Зеркала были повсюду, кроме кабинета хозяина. Старик терпеть не мог зеркал, но душечке своей в прихотях не отказывал. Пусть любуется, пока они благосклонны к ней.

Городовой, почтительно обнаживший лысеющую голову перед дамой, несколько задержался в глубоком поклоне, подчёркивая свою крайнюю почтительность. Дождавшись, пока она спустится до последней ступеньки, поприветствовал хозяйку, выдувая в пышные усы слова восхищения, украшенные лебезливыми нотками:

– Здравствуйте, чаровница Елизавета Ниловна! – изобразив на лице глубокую озабоченность, городовой, понизив голос почти до шёпота, спросил. – Хворают, слышал, господин Мусаев. Пришёл вот почтение выразить, выздоровления скорейшего пожелать. А что так, бесценная Елизавета Ниловна? Неужели всё так худо? Ежели от меня какая угода, всегда к вашим услугам, сами знаете.

– Благодарю, любезный, – вздохнула хозяйка дома, опустив глаза для придачи внешнему облику душевной трепетности. – И думать боязно, не то что говорить… Правда это, сильно недужит. Только неведомо, чем. Доктора вразумительно не говорят, диагноза не ставят. Все органы, говорят, в порядке. А он будто и не жив уже. Молчит подолгу, глаза прикроет и молчит. Я уж и так, и эдак… Извелась вся. Беспокойна я о нём очень…

«А в зеркала глядеться при всём не забываешь, – подумал городовой. – Плутовка! Видывал таких, в товарняках сотнями на дню прибывают. Из грязи да в князи. И благодетель твой из той же колоды. Не брызни нефтюшка из-под солончаков, так бы по гроб коросту счёсывал да вшей из бороды вычёсывал. Это ты перед басурманом своим выделывайся, чтоб деньжат из него поболе вылюбить, чёртова содержанка, шавка безродная. А то как же карточные долги братца непутёвого покрывать будешь? Знамо дело – у тифлисских разговор короткий. Без пользы, однако. Всё равно пропадёт братец. И тебя за собой потянет. Всему время».

– Ай-яй-яй! Вы уж себя берегите, сердешная. Друзьям-то своим огорчения не доставляйте, Елизавета Ниловна, – лицемерно произнёс он вслух. – Обойдётся, думаю, милостью божией. Аудиенции, как я понимаю, никак?..

– О чём вы! – театрально взмахнула ручкой хозяйка, не преминув продемонстрировать дорогущий браслет с изумрудами. – Не обессудьте, друг мой, не сегодня.

– Понимаю, понимаю, – закивал головой посетитель. – Позвольте откланяться. Зайду в другой раз. Передайте супругу мои чаяния о скорейшем его выздоровлении. Обязательно помолюсь о его здравии в воскресенье в храме.

Городовой вышел, аккуратно прикрыв за собой тяжеленную резную дверь. Хозяйка расслабилась, сбросила напряжение с позвоночника, будто сдувшись, почти вразвалку стала подниматься обратно вверх по мраморной лестнице. Городовой, хоть и мелкая тюрька, но его всё равно привечать должно. Утомил разгонщик шпаны, «базарный генерал».

– Сария! Кюбра! Куда вы запропастились, чурки деревенские? – вновь приняла свой естественный облик вчерашняя оборва. – Почему в гостиной до сих пор не прибрано?!

Выскочившие на крик госпожи служанки, одетые на европейский манер и ис-

пытывающие от этого явное неудобство (особую нелепость Кюбре придавал постоянно съезжающий до густых бровей белый кружевной чепец), недоумённо переглянулись. Что ей опять не так? Все давно и многократно перетёрто и перемыто.

– Кажется, ханым снова не в духе. С чего бы? – опасливо прошептала Сария.

– Всё с того же, – ещё тише, но не без ехидства подхватила чернобровая Кюбра. – Денежки денежками, а молодой гусар нужен. Кровь кипит, а крышку золотым гнётом прижало. Вот и бесится.

– Что ты несёшь? – зарделась целомудренная Сария. – Услышит ханым, вмиг вышвырнет.

– Не донесёшь, не услышит, – не унималась Кюбра. – Господин-то плох совсем. Кифаят вчера только *нохуд-фалы*[1] на него выстраивала. Худо, говорит, дело. Может, говорит, и до Новруза не дотянуть. И вообще, говорит, Судный день скоро! А её бобы, сама знаешь, как по-написанному…

– Ой, спаси Аллах! Ой, не обрушь на нас гнев свой! Страсти-то какие! Судный день грядет, а я и замужем-то не была ещё… – искренне сокрушалась простушка Сария.

– Оно и лучше, – измывалась под доверчивой девушкой ушлая Кюбра. – Ты в рай попадёшь. Девственницам в раю особые почести. Может, приглянешься там какому-нибудь безвременно погибшему молодому праведнику… – Поняв, что вот-вот рассмеётся, Кюбра зажала рот ладошкой и быстренько ушла к двери, ведущей в подсобку.

– Надо попросить тётушку Кифаят и на меня бобы раскинуть. Неужели правда всё? Ой, спаси Аллах! Смилуйся, не обрушь нашего крова! – заспешила в подсобку и Сария. Она уже перебирала в памяти немногочисленных кандидатов на её руку, которых рекомендовала ей опытная и проворная в своём ремесле сваха Мешади-Ниса. Решила, видимо, успеть до прогнозируемого Судного дня. Но ни один из тех, кого до сих пор предлагала ей шустрая Мешади-Ниса, не ложился на душу: тот староват, этот толстоват, у вдовца детей многовато, у садовника денег маловато. Может, второй женой за конюха соглашаться? Он и молод, и хорош, и не нищ, поди, раз вторую жену решил взять. – Надо подумать, надо подумать.. – с сомнением произнесла вслух Сария и по рассеянности ударилась головой о закрытую дверь подсобки. Девушка вскрикнула и схватилась за ушибленный лоб. Место, которым она только что собиралась подумать, мгновенно украсилось нехилой шишкой.

Из-за двери выскочила Кюбра, на ходу вытирая медный поддон для самовара.

– Что такое? – глянула она на девушку. – Ты дверь руками, а не головой открывать не пробовала? Ничего себе украшение! Вот, держи. Приложи поднос, медь хорошо помогает. Как это угораздило тебя?

– Задумалась...

– Неужели? Ты и думать умеешь? Чудеса!

– Прогонит меня ханым, решит, что неуклюжая я...

– Не хнычь. Не до тебя ей. К ним сейчас нотариус прийти должен. Это надолго. Нотариусы каждое слово на весы кладут. Ты поднос холодной стороной перекладывай, быстрее пройдёт. Иди к себе, не мельтеши тут… Иди, подлечи медный лоб медным подносом, — не удержалась Кюбра, чтоб не съязвить.

У парадной двери зазвенел колокольчик. Кюбра пригладила ладонями оборчатый передник, на ходу поправляя ненавистный кружевной чепец, поспешила встречать посетителя. Это он и был – нотариус, устроитель будущего для одних,

[1] *Нохуд-фалы* – (азерб.) гадание на бобах.

обрушитель надежд для других, многомудрый господин Ерлинский. Кюбра приняла из его рук дорогое пальто с куньим воротом, шляпу-котелок и потянулась было за зелёной папкой, которую мужчина прижимал к себе локтем. Но нотариус запрещающим жестом остановил девушку. Она понимающе отступила.

– Ступай, сообщи господину, что я тут.

– Ждёт вас хозяин. Меня предупредили. Я даже новый чернильный прибор на бюро поставила, малахитовый, с серебром. Такой красивый, глаз не оторвать!

– Всё-то ты знаешь, всё-то ты понимаешь, чертовка, – игриво потряс перед её носом указательным пальцем нотариус. – Была бы образованной, взял бы к себе секретаршей.

– Я и своими хозяевами довольна. Храни их Аллах! – Кюбра на всякий случай смотрела в пол, чтоб не выдавать истинного отношения и к нотариусу Ерлинскому, и к безрадостным событиям, предвестником которых он частенько являлся. Фабрики, заводы, буровые, верфи, дворцы – всё это могло умещаться в зелёной папке, на листах плотной гербовой бумаги, исписанной каллиграфическим почерком господина Ерлинского, оформляющего распоряжения нефтяного магната Мусаева относительно наследования его имуществом…

«До чего всё шатко в этой жизни, – думала служанка, глядя вслед неспешно поднимающемуся по ковровой дорожке мраморной лестницы нотариусу. — Денег немеряно, а ни разу улыбки на его лице не увидела. Детей молодыми схоронил, братьев не жалует, у внучек своя жизнь, молодуху только золотая цепь и держит. Помрёт хозяин, неизвестно ещё, надолго ли ей добра хватит. Любит она широко жить. Пустит всё по ветру. И что мне до неё? О себе самый раз подумать. Не наше бедняцкое дело господское считать. Самой бы не пропасть. Последние годы столько всего происходило, что волей-неволей поверишь в мрачные предсказания Кифаят о каре небесной для всего рода человеческого. Говорят, на промыслах снова кто-то народ баламутит. Будто за простой народ радеют. Пустое всё! Одни придут – раздадут. Другие придут – заберут. Верно отец мой говорил, упокой Аллах его душу: у стены стой, пока она в зной тень отбрасывает, а в холод от ветра укрывает, рухнет стена – беги к другой. Сколько же ещё стен рухнет, спаси Аллах!»

## 3

Старик Мусаев сидел в глубоком кожаном кресле с красивыми золочёными подлокотниками в виде замысловато переплетённых завитушек. Синяя шёлковая косоворотка, скромный стариковский *аракчин*[1] на бритой голове, крупные коралловые чётки перебирались пальцами одной левой руки. Правой рукой он то и дело поглаживал когда-то угольно-чёрную, но уже давно и безуспешно борющуюся с сединой бороду. Иногда останавливал взгляд на каких-то предметах и начинал легонько похлопывать правой ладонью по золочёному подлокотнику. Глубоко посаженные и не выражающие никаких чувств глаза приводили в замешательство присутствующих, если останавливались на ком-то. Очень неприятный взгляд. То ли хищника, то ли жертвы. Елизавета Ниловна заботливо поправила подушку за спиной старика и придвинула стул на гнутых ножках, чтоб присесть рядом. Но супруг взял её за руку и непривычно ласково, почти с нежностью, произнёс.

– Приготовь нам чаю, *балым*[2].

[1] Аракчин – национальный головной убор, разновидность тюбетейки.
[2] *Балым* – (азерб.) Медовая моя.

Это означало «оставь нас с господином Ерлинским одних». Елизавета Ниловна оскорбилась, но виду не подала.

– Да, душа моя, – понимающе кивнула женщина и даже улыбнулась старику. В сторону нотариуса и не посмотрела. Будто и не было его в комнате. Елизавета Ниловна молча вышла из кабинета и плотно прикрыла за собой дверь, делая вид, что предмет обсуждения супруга с нотариусом не волнителен для неё. Абсолютное лукавство! Ещё как волнителен…

– Приступим к делу, с вашего позволения, – нотариус открыл зелёную папку и извлёк оттуда плотный лист бумаги с вензелем внутри герба, который должен был стать родовым для наследников господина Мусаева. Но со смертью единственного сына герб фактически перестал представлять собой символ рода. И сам господин Мусаев, и нотариус Ерлинский понимали это. Нефтепромышленник осознавал это с горечью, нотариус с сочувствием. Господин Ерлинский нацепил на нос пенсне. – Здесь всё, как вы велели, в доработанном виде, с учётом указанных вами изменений. Извольте ознакомиться.

Старик Мусаев принял из рук Ерлинского протянутый лист с посмертными распоряжениями. Но тут же, не читая, вернул его.

– Положите в папку. Я подпишу позже.

– Как вам будет угодно. Будут ещё изменения?

– Нет. Не знаю, придётся ли моё решение по душе наследникам, но я последний вариант считаю вполне справедливым. Тут сомнение небольшое… По поводу доли Елизаветы-ханым. Дом этот и дача в Кисловодске на неё давно записаны, 50 тысяч золотом опять же… Если с умом распорядиться, до ста лет безбедно проживёт. А как вы думаете? Может быть, ещё добавить?

– Я не вправе давать клиентам советы по поводу завещаний. Ваше имущество, ваша и воля. Моё дело надлежащим образом документ составить. Без сучка и задоринки. Так оно и будет, не сомневайтесь, – негромко, но с достоинством и гордостью за свои профессиональные качества ответил нотариус. Про себя он подумал, что Елизавета Ниловна будет рвать на себе волосы, когда узнает, в какие гроши от многомиллионного состояния оценил старик их столь долгий то ли брак, то ли сожительство. Нотариус, конечно, знал, что практически всё завещано первой жене, матери его покойных детей. Кое-что завещано служащим. Так, по мелочи.

Когда, составляя завещание, нотариус спросил, будет ли господин Мусаев включать в перечень наследников братьев, племянников и каких-нибудь других второстепенных родственников, старик резко выпростал вперёд руку и почти ткнул ему в лицо кукиш. Нотариус тогда подпрыгнул на стуле от неожиданности. Такого в его практике ещё не случалось. «Вот им, – гневно хрипел тогда господин Мусаев. – Не дождутся! Вороньё!..»

– …Мне зайти завтра, господин Мусаев?

– Заходите. После полуденного намаза. Подпишем, запечатаем и… будем уповать на милость Аллаха…

– В таком случае разрешите откланяться, господин Мусаев. Будьте здравы, – не без облегчения начал прощаться нотариус с завещателем. Общение со стариком Мусаевым, как и прежде, было для него тягостным.

«Мрачная личность, – думал нотариус, принимая из рук служанки свои котелок и трость. – Не поймёшь, с каким бесом исподволь якшается. Мне-то, благо, платит щедро. Но всё ж муторно на душе…»

Всегда вежливый даже с чужой прислугой, господин Ерлинский вышел за порог, не простившись. Кюбра была удивлена и немного огорчена. Она собиралась «прощупать» нотариуса на предмет серьёзности его недавнего предложения: готов ли господин Ерминский дать ей хоть какую работу в своей конторе, если возникнет необходимость? Она прикрыла дверь за посетителем, пожала плечами и ушла в подсобку.

Тем временем Елизавета Ниловна вернулась в кабинет к мужу, неся серебряный поднос со сладостями. Увидев на столе зелёную папку, с трудом сдерживая охватившее её внутреннее волнение, она изобразила полное безразличие и вопросов по этому поводу задавать не стала.

– Почему господин нотариус на чай не остался?

– Спешил. А мы сами, без него, почаёвничаем. Да, *балым*?

– Как скажешь, душа моя. Тебе чай с чабрецом или с мятой?

– Любой, лишь бы из твоих рук! И ещё о чём попрошу, балым. Ты вели мне сегодня тут постелить. Ужинать не буду. Неси чай, балым.

Когда Елизавета Ниловна вернулась с чайником и маленькими хрустальными стаканчиками, зелёной папки на столе уже не было. Женщина подала супругу трость, поддержав под локоть, помогла подняться, краем глаза глянув в кресло. Папки там не было видно. Когда же он успел её спрятать? До чего же ей хотелось заглянуть в эту папку! В том, что её имя, безусловно, там присутствует, сомнений не было. Вот только на каком месте?..

– Истопника позови, *балым*. Прохладно стало.

– Хочешь, я тоже здесь переночую? Посидим у камина, я тебе почитаю.

– Спасибо, *балым*. Не волнуйся обо мне. Я хорошо себя чувствую. Неудобство себе из-за меня не создавай, к себе спать иди. Насчёт фаэтона распорядись. Прогуляемся завтра. Утром, пораньше. Ты не против, *балым*?

– С удовольствием, душа моя! А в галантерейную лавку к Гаджи-Аге зайдём? Я ему на той неделе атласные перчатки заказывала.

– Заедем, заедем. И к галантерейщику, и к модистке, и к ювелиру.

– Ты прелесть! – Елизавета Ниловна игриво чмокнула старика в свободное от растительности место на лице, между бородой и носом. Глазами она всё ещё выискивала зелёную папку и удивлялась прыти старика, успевшего так быстро убрать её. – А мы успеем до полудня? Ты не забыл, что твоих внучек приведут? Дедушку навестить желают. Подросли девочки, уже почти невесты. Ах, летит время!

– Успеем, успеем. Всё успеем!..

Насладившись ароматным чаем и необязывающей беседой, супруги пожелали друг другу доброй ночи и расстались до утра.

Старик Мусаев сбросил лёгкую обувь и, не раздеваясь, прилёг на только что застеленный служанкой широкий диван. Спать не хотелось. Он лежал поверх одеяла, перебирая в руках чётки, а в мыслях – предстоящие дела. С утра обещанная Елизавете прогулка. Потом недолгий визит четверых внучек… Боже, они с каждым годом становятся всё больше похожи на свою покойную мать! Бедная Сейде-Бану, его милая щебетунья, любимая птичка-синичка…

У старика на глаза навернулись слёзы. Он достал платок из нагрудного кармана синей шёлковой рубашки, вытер глаза. А что, если отменить все завтрашние дела, да и поехать за город, погулять по холодному зимнему саду, там, где были счастливы его дети. Он так мало бывал с ними!..

Нет, встречу с Ерлинским откладывать не стоит. Да ещё управляющий просил принять какого-то настырного жалобщика с промысла. Тот уже губернатору письма начал писать. Наверное, времени свободного много стало – бездельник!

Шёлковое одеяло лебяжьего пуха – это вам не ватный матрас поверх соломенного *хасира*,[1] дрёма одолела очень скоро. Старая керосиновая лампа – непонятная для челяди причуда хозяина, такая нелепая в окружении роскоши и великолепия богатого дома, мигала коротким язычком пламени на выступе мраморного камина.

Старик Мусаев с трудом размежил веки, ощутив чьё-то присутствие.

– Это ты, *балым*? Я же сказал, иди к себе, не беспокойся. Позову, если нужно будет…

– Я это, сынок, – услышал хозяин чей-то негромкий голос. Голос показался знакомым.

– Кто здесь? – старик Мусаев всмотрелся в темноту и не сразу разглядел сидящего напротив пожилого мужчину в застиранной деревенской рубахе с распахнутым воротом. – Какой же я тебе сынок? Постарше тебя буду. Кто впустил тебя?..

– А кто запретит мне бывать тут? Я не гость в этом доме. Не ждал?

– …Ждал… – кратковременный страх ушел, беспокойство рассеялось, стало легко и почти радостно. Старик Мусаев так долго, больше полувека, жил с этим грузом, что успел привыкнуть к нему и не чувствовать бремени. Стародавний грех сросся с ним, стал частью его самого. Как кожа, сердце… душа. Он вздохнул: – Будто кто-то руку держал давеча, чтоб не подписывать… Зря я тогда записку с адресом изорвал. Имя только помню. Кябира, дочь Ага-Мирзы. Кто она?

– Дочка моя. Как мужа не стало, она весточку мне прислала, чтоб забрал её с мальцом к себе. Худо ей жилось у мужней родни, хворала всё время. Хотел вот помочь ей. Распродал последнее, чтоб забрать у недоброй родни, жильё хоть какое справить, сынишку ремеслу хлебному обучить, когда подрастёт. Зажили б вместе… Не в добрый час повстречались мы с тобой, сын саманщика! Доченька моя кровью харкала-харкала, да и померла. С твоим сыном в один день и померла. Внука моего родня пинками и подзатыльниками растила. Чуть воришкой базарным не стал. Немолод уже. Но жизнь у него долгая впереди, потреплет ещё судьбинушка. Даже ты выслушать его не захотел. А ведь долг у тебя перед ним. Неоплаченный …

– А-а, жалобщик… Завтра приму…

Пожилой мужчина горько усмехнулся и покачал головой.

– Я смотрю, герб твой верёвками перевит. Слукавил ты. Разве этим делом ты на керосиновую лавку скопил? Сам знаешь, что у истоков твоих богатство стояло…

— Ошибаешься, старик. На гербе развязанная лента есть. Та самая … и сам – герб… холщёвый кисет напоминает.

– Без девяти червонцев…

– Будь они неладны…

– Вот ты как заговорил! Сметливый ты оказался, нечего сказать.

– Ничего уже не изменить.

– Ты и раньше не пытался этого сделать. «Какие горы золота в один миг оборачиваются грудой черепков!» И прежде бывало, и впредь будет. Суета всё…

– Согласен, – старик Мусаев приподнялся, опустил ноги с дивана. Через минуту он с трудом поднялся, подошёл к своему креслу, вытащил из-за подушки, примятой к стенке, зеленую папку, извлёк из неё неподписанное завещание и бросил

[1] Хасир – грубая соломенная циновка.

его на тлеющие угли в камине. Бумага скукожилась и вспыхнула. – Так лучше.

Он с облегчением вздохнул, опустился в своё любимое кресло.

Один из богатейших людей империи умер ночью, сидя в кресле. В одиночестве. Без прощения и покаяния. На полу перед ним валялись коралловые чётки и раскрытая зелёная папка. Пустая. На потемневшем от жара небольшом куске бумаги внутри камина угадывались очертания герба нефтяного короля Мусаева. Герба, так и не ставшего родовым…

Хоронили его с почестями, как и подобает нефтяному королю. Но не там, где он хотел – около сына, а на городском кладбище. Имущество решением суда было поделено между матерью его детей и четырьмя внучками, но решение это даже не успело вступить в законную силу. Очень скоро всё имущество старика Мусаева, как и других магнатов и «буржуев», было национализировано новой властью и признано государственной собственностью.

А ещё через десять лет дальним родственникам пришлось перезахоронить его останки во «временной могиле» на бросовом участке за городом, так как земля изымалась городскими властями на нужды градостроительства и благоустройства. Ещё через десять лет и бросовый участок за городом был изъят. На этот раз под строительство дороги. И снова останки старика Мусаева, кое-как собранные в кусок ткани вместо савана, были закопаны в условной могиле поселкового кладбища. Совсем недалеко от того места, где когда-то стоял амбар заготовщика сена Мешади-Мусы. Как показало время, и эта могила не стала последним пристанищем для почти утраченных останков нефтяного короля Мусаева.

## *Пирожки от леди Макбет*

Пожилая женщина сидела на диване перед младшей сестрой. Она то и дело утирала покрасневший нос подолом пёстрого штапельного халата и напоминала своим видом гусыню, с которой не решили ещё, что делать, но уже связали лапки.

– А ты соображай, соображай, дура старая, как это предотвратить! – младшая сестра тыкала «двоеперстием» в лоб старшей со злобно-презрительным выражением лица. Наконец она опустилась на стул, расставив ноги и задрав подол широкой юбки. От избытка эмоций у неё даже ляжки запотели. Она отёрла мокрые от пота ладони и лицо краем скатерти и оперлась локтем о стол. – Уф-ф-ф! Ты что, на самом деле не понимаешь? Он тебя в старости с голым задом оставит!

– Почему с голым задом? – перебирала связанными лапками «гусыня». – Квартиру разделим, денег будет давать, сколько надо. Что он мне? Одно раздражение…

– Даст он ей сколько надо! – передразнила младшая сестра. Она согнула руку в локте, изобразив неприличный жест. – Вот это он тебе даст! А сказал, кому машина, гараж, дача? Помнишь, в том году из бампера что выпало на даче? А из банки с краской какой «осьминог» выполз, помнишь, дурында? С этим как? Тоже «посылать будет»? Тебя он посылать будет, если моё мнение узнать хочешь!

Старшая сестра перестала походить на обречённую гусыню. Теперь она больше напоминала лицом её отрезанную голову. Ну да, точно! Тогда, на даче, муж, подавая машину назад, случайно ударил бампером дерево. Удар был несильный, но спрятанное под бампером упало на песок. Это был продолговатый пакет, перетянутый изолентой. А в нём несколько десятков тысяч долларов. Судя по объёму, не меньше сотни тысяч. Муж не заметил и уехал. Повезло ещё, что не в дороге где-то обронил.

Старуха до сих пор жалеет, что вернула ему деньги. Тогда от волнения сразу не сообразила. Да, не оказалась рядом младшей сестры… «Осьминог», выползший из упавшей с полки жестяной банки с краской, – вообще сказочный клад. Муж категорически запрещал домашним без его ведома трогать что-либо в гараже или «наводить» там порядок. Для мужчин не ново. Но жена решила поставить на полку с красками бутылку скипидара. Сдвинутая жестяная банка не устояла, упала с полки, крышка отлетела и вся коричневая краска для пола растеклась. А ещё порвалась толстая резиновая перчатка, связанная бечевой и хитроумно утопленная в краске. Четыре десятка юбилейных советских золотников, выпавших в краску, потом отмывались тем самым злополучным скипидаром. Ну и влетело ей тогда от мужа! Куда он потом червонцы перепрятал?... Да, сестра права, не продешевить бы.

– И-и-и-ищ… – устало вскинула брови «домиком» старая женщина. Она окончательно запуталась в мыслях, не могла понять, какого противодействия мужу ждёт неё младшая сестра, что ей вообще нужно и что именно привело её в ярость: обида за сестру, огорошенную угрозой развода через полвека супружества или материальная составляющая этого процесса. – Зачем мне его машина? Само собой, машина, гараж – ему. А украшения – мне. А дачу зачем делить? Она внукам останется. Не думала.

Похоже, двухчасовая экзекуция, которой подвергла ей младшая сестра, начинала давать плоды. Сомнение стало вытеснять крохи здравого смысла из головы старушки, в перспективе разведёнки. Справедливости ради надо сказать, что эта пара и в молодости-то не была образцом любви и верности. За пятьдесят лет она могла распасться сто пятьдесят раз. Так себе, стерпелось, слюбилось.

– А чем тебе думать? У тебя же вместо мозгов солома! – добивала младшая сестра своей «дальновидностью». – Дача ему от кого осталась? От матери. Ты в договоре есть? Нет! Купчую оформили? Нет! Начинаешь соображать? У тебя только право пользования есть. Формальное. А хозяйничать там другие бабы будут!

– Не-е… – неуверенно протянула старшая сестра. – Там же дети летом отдыхают, внуки…

– Твердолобая же ты! Он купчую после развода оформит, а тебе – вот это, – младшая сестра сложила кукиш. – И детям тоже. Найдёт лису помоложе и всех вас забудет.

Старушка начинала терять голову. Под яростным напором сестры она всё больше склонялась к мысли о вероломстве, лжи и корысти мужа, который намеревался «оставить её с голым задом в старости».

Насколько серьёзным было предположение о готовности мужа в 74 года официально расторгнуть брак, уже не узнать никогда. По сути, они не первый десяток лет просто сосуществовали под одной крышей. И это стало привычным образом жизни, неким укладом, менять который уже не имело смысла. О достоверности разговора про развод судить со слов старушки не стоило бы – эта переврёт, переставит с ног на голову, доведёт до абсурда, любую самую правдивую информацию. С годами нелучшее свойство её характера только усугублялось. Окружающие снисходительно объясняли всё издержками преклонного возраста и не придавали значения.

– Я вечером поговорю с ним… – с отчаянием в голосе произнесла старая женщина. Она отёрла ладонью подоспевшую слезу и тихо добавила: – Нет, лучше скажу детям, пусть они поговорят…

– Ещё чего! – чуть не подскочила на месте младшая сестра. – Думаешь, у детей о тебе душа заболит, думаешь, они отца отговаривать станут? Не до тебя будет, помяни моё слово. Каждый захочет своё урвать.

– Ой, нехорошо мне, – старшая сестра схватилась за сердце. – Там, в аптечке, корвалол … принеси.

Закрутившая интригу до сердечных капель младшая сестра принесла стаканчик, подождала, пока женщина выпила лекарство, взяла из её рук пустой стакан и как-то странно и задумчиво на него посмотрела. Дьявольскую суть Диляры – младшей сестры – можно описывать очень долго и очень эмоционально. Эпитетов будет множество! В двух словах – это умело замаскированное абсолютное зло.

– Сделаем так, – обратилась Диляра к сестре, всё ещё задумчиво глядя на пустой стакан. – Ты детям не говори пока ничего. С ним я сама поговорю. Узнаю, чего он удумал, что затеял. А там посмотрим.

Последние, казалось бы, безобидные слова прозвучали как-то зловеще.

– Без меня ничего не предпринимай! Ясно тебе?

– Да…

– Где он сейчас? В гараже?

– Наверное…

– Ладно, пойду я. Надо всё обмозговать. Завтра зайду. Глазные капли принесу. Деньги давай!

– Сколько?

– Сто, – в очередной раз втюхала грошёвые капли заботливая сестрица.

Подавленная пожилая женщина, качая головой, ковыляющей походкой подошла к буфету, открыла стеклянную дверцу и вытащила несколько купюр. Протянула сотню сестре, уже взявшей на заметку очередной сестрин «сейф».

Большой мастер по разработке и воплощению в жизнь самых невероятных авантюрных планов, Диляра перетасовала мысленно таковых не меньше десятка за пять минут ходу до гаража, где обычно по несколько часов в день проводил зять-пенсионер. Зимой «наводил порядок» внутри. Летом доминошничал и тянул пивко с такими же старыми отставниками. Часто просто сидел перед входом, читая какие-нибудь «Военные хроники». Диляре повезло: зять был один, он только что полил и тщательно вымел площадку перед гаражом и сидел на любимой скамейке, явно скучая.

«Ну вот, опять явилась, будет сейчас деньги клянчить», – наверное, подумал старик, завидев игриво вихляющую задом и широко улыбающуюся свояченицу.

– Привет, Тофик, – Диляра приблизилась к мужчине и начала доставать из сумки кошелёк. – Вот, пришла должок вернуть, а тебя дома нет. У меня сотня. Есть у тебя сдача?

– С собой нет, – растерялся от неожиданности зять. Это было впервые. Обычно занятые свояченицей деньги оставались невозвратными. Он раскрыл было рот, чтобы напомнить о прежде одолженных деньгах, но она опередила.

– Тогда я завтра занесу, – хитро прищурив и без того лисьи глаза, свояченица вернула кошелёк в сумку, села рядом. – Уютно у тебя тут. Прямо как на даче! Чистота, цветочки… Дура моя сестра, такому мужу цены не знает. Всю жизнь в достатке, сытости, а недовольна. Как ты терпишь её полвека? Не поверишь, только что снова из-за тебя ругалась с ней. Хотела в твоей комнате прибраться, она не позволила. Дай, говорю, хоть наволочку ему поменяю. Не надо, говорит, обойдётся. Под его, говорит, лысину и такая сойдёт.

– … Видишь, какая… Змея! – уныло покачал головой старик, отирая вспотевшее лицо большущим клетчатым платком, он всё ещё не взял в толк: какова истинная цель визита свояченицы?

– Не то слово. Гюрза натуральная! Понравились тебе пирожки?

– Какие пирожки?

– Те, что на той неделе приносила. С мясом. Неужели не оставила тебе?

– Не было никаких пирожков. Сто лет домашних пирожков не ел…

– Действительно гюрза. А ещё предупредила! Мужа, говорю, обязательно угости. Знаешь, Тофик, приходи к нам в гости. Назло ей, специально для тебя напеку.

– Спасибо, зайду как-нибудь.

– Чего ждать, в пятницу и приходи.

– Я в пятницу на дачу поеду.

– Инжир созрел уже? Мне на варенье ведёрко не наберёшь?

– Приезжай, сама набери.

– Отлично! Договорились. Я тебе пирожков, ты мне – инжир. Можно внука с собой возьму?

– Бери кого хочешь.

Обстоятельства по ходу сами подсказали дальнейшую схему. Оставалось отработать детали. «Заботливая» свояченица чмокнула зятя в небритую щёку, перекинула сумку через плечо и довольно бодрой для 65-летней толстозадой бабёхи походкой пошла в сторону автобусной остановки кварталом ниже. Зайдя в хозяйственный магазин рядом с остановкой, купила пять упаковок с «крысиным прикормом». В прошлый раз всю приманку соседский кот сожрал. На последнем своём пиру… Загубила жадность рыжего прохвоста. Хозяйка для него кильку брикетиками закупала, курьи гузки специально отваривала, а он по чужим кладовкам шастал. Сколько банок с соленьями недавно с полок сбросил, паршивец! Соседка, правда, в случайность не верила. До сих пор не здоровается.

– В общем, поговорила я с твоим, – придя домой, сбрасывая туфли, кряхтя и отдуваясь, сообщала Диляра сестре по телефону результат своего «миротворчества». – Ну что тебе сказать? Худо дело, сестрица. Напортачила ты за пятьдесят лет. Он чуть из штанов не выскакивал от злости, когда о тебе говорил. Еле уговорила его не рубить с плеча, повременить, обещала с тобой воспитательную работу провести, чтоб всё по-человечески. Мы с ним увидимся на днях. Ты пока разговоров избегай, на вопросы не отвечай. Наедине с ним не оставайся. Очень на тебя зол, прибьёт, неровен час. Опять ревёшь? Нет, я же сказала, детей не вмешивай. Держи язык за зубами. Я разберусь. Да, обещаю.

– Держать язык за зубами – самое трудновыполнимое для тебя, сестрица безмозглая, – прошипела Диляра, закончив телефонный разговор. Она раскрыла сумку, извлекла красные глянцевые пакетики с крысиной отравой в виде мясной и крупяной крошки, сдобренной солями таллия. Потрясла перед ухом, прощупала пальцами, проверив на слух и наощупь. – И не нужно нам никакого специального разрешения на ношение огнестрельного оружия, – произнесла Диляра вслух, уловив фразу из новостей только что включённого телевизора. В далёком прошлом сотрудница санэпидемстанции, она была хорошо осведомлена о действии солей таллия на грызунов. – Мы и без него кого хошь уложим. Без следов, без крови, без лишних затрат.

Диляра пошевелила пальцами ног, откинулась на диване, обвела взглядом комнату, заставленную изготовленным «под старину» дешёвым ширпотребом. Тишина в кухне удивила её. Обычно в это время заливался трелями её любимец, соловей Бюлик.

Диляра поднялась с дивана, прошла в кухню и ахнула: Бюлик лежал в клетке лапками кверху, приоткрыв клювик. Кормушка и капельница для воды полны, птичка

не притронулась к ним. С утра пел, бодрый был, вроде. За пять лет Диляра очень привязалась к Бюлику. Его внезапная кончина потрясла женщину. Она прослезилась.

– Бедненький ты мой, Бюлик-сюмбюлик! – утёрла Диляра набежавшие слёзы. Она тяжко вздохнула, отперла дверцу клетки, взяла двумя пальцами мёртвую птичку за крылышко и … выбросила в приоткрытое окно прямо на улицу. – Извини, Бюлик, а дохлый соловей только кошкам в радость.

Женщина переоделась в домашнее, поставила чайник. Пока он закипал, стала протирать пыль с полок с фотографиями и дутыми дипломами за несуществующие заслуги в общественной жизни. Своё фото в белых одеждах паломницы на фоне саудовских минаретов на этот раз передвинула поближе к нарядной металлической табличке с сурами из Корана. Приверженность к Исламу тут ни при чём. В случае с Дилярой это одно из орудий самопиара, как ни кощунственно это звучит. Убедив одного из уважаемых религиозных деятелей в своей «искренней и бескорыстной давней мечте соприкоснуться с праведным духом истинной веры», она, никогда не совершавшая намаз, не соблюдавшая постов и предписаний Ислама, не читавшая Корана, на спонсорские деньги посетила Мекку и, нащёлкав таких вот фотографий, активно тиражировала их в СМИ и среди общественности. Пока неизвестно, какое решение принято в Небесной канцелярии по поводу «добросовестности» лицедейки, удостоившейся приставки «хаджи» к своему имени. А вот общественность поверила. Хотя никаких предписаний шариата старая лиса по-прежнему не выполняет…Рядом с паломниками поставила другое своё фото в белой овальной рамке – с последователями индуистской секты, облачёнными в белоснежные дхоти с мантрами «Счастья» на санскрите в изголовьи. Фото покойного мужа, лицемерно заключённое в самую красивую золотистую рамку с розами и лилиями, решила переставить на декоративный столик с конфетницами и подсвечниками.

– Стой тут, дармоед, – протёрла она стекло, предварительно от души плюнув на него. – Радж Капур хренов!

Презираемому при жизни бесхарактерному подкаблучнику после смерти отводилась роль «горячо любимого, единственного (!!!) мужчины в её жизни». Из кухни послышался свист закипевшего чайника. Диляра сделала раскрытой пятерней жест презрения в сторону фотографии «скоропостижно скончавшегося» несколько лет назад покойного мужа и отправилась пить чай в обществе трёх молчаливых обитателей круглого аквариума и опустевшей клетки погибшего Бюлика.

***

Договорившись с водителем такси на пять часов вечера, Диляра вынула из багажника два ведра, сумку со снедью и подошла к воротам дачи. Внук, двенадцатилетний мальчик с недовольным выражением лоснящегося от излишнего жира лица, женственной походкой шёл впереди бабки, даже не думая взять из её рук хотя бы пустые эмалированные вёдра. Калитка была не заперта. Внук прошёл вовнутрь, не дождавшись бабушки и не попридержав дверь. Женщина едва увернулась, чтоб не схлопотать по лбу железной калиткой. Ей пришлось выпустить из рук вёдра, отчего те с грохотом покатились назад. Тихонько ворча, но не смея даже мысли допустить об отсутствии воспитанности у тюленевидного обожанца, Диляра подобрала вёдра и вошла во двор. Зять поливал деревья на другом конце. Он не сразу заметил гостей.

– Тофик! – окликнула его свояченица. Она поставила вёдра на землю и, не выпуская из рук сумки с пирожками, помахала зятю. – Привет, дорогой! А мы вот в гости

к тебе. Угостишь самоварным чаем?

Старик закрыл кран и направился к гостям. Он широко улыбался. Похоже, был действительно рад. Будет с кем поболтать, посидеть по-стариковски. Он поздоровался за руку с внуком свояченицы, приобнял и её.

– Проходите, устраивайтесь. Там, в кухне, скатерть чистая. Сама разбирайся. Я самовар поставлю. А ты, – обратился к мальчику, – пока инжир можешь насобирать. Потом жарко будет.

– Нет-нет, не надо, я сама соберу, – замахала руками женщина. – Пусть ребенок отдохнёт с дороги.

– Как знаешь, – пожал плечами старик. – А что его в дороге утомило?

– Иди, Сям-сям, погуляй, – обратилась Диляра к внуку. – Я позову, когда чай будет готов.

– Я кушать хочу!

– Сейчас приготовлю, душа моя, – заторопилась Диляра, доставая из сумки пакет с бутербродами. – Погуляй пока.

– Ты что так сюсюкаешься с парнем? Мужик он, в конце концов? Пусть насобирает инжир. Что ему сделается?

– Аллергия у него. Не надо, я сама, – Диляра вытащила из сумки большой пакет с пирожками. – Вот, это тебе, как обещала. Здесь пирожки с мясом. Только чтоб Сямсям не увидел. Нельзя ему с мясом. Я ему яйца отварила, цыплёнка и бутерброды с сыром. Стараюсь на диете его держать. Спрячь пирожки, пока он не увидел!

Зять вышел на веранду поставить самовар. Диляра убрала в шкаф пакет с пирожками. Она посмотрела в окошко и, убедившись, что внук далеко, с облегчением вздохнула. Внук тем временем мучал черепаху, на свою беду попавшую ему на глаза.

– Дядя Тофик, можно я заберу черепаху домой? – крикнул мальчишка издалека старику, потрясая над головой бедной черепашкой.

– Зачем она тебе, Сямочка? Что ты с ней в городе делать будешь? – ответила вместо Тофика Диляра. – Пусть здесь бродит. Здесь песочек, травка.

– Знаешь, какая из неё клёвая пепельница получится? – не унимался внук и вдруг выронил черепаху из рук. Она упала на спину. Мальчик стал хохотать, наблюдая за неуклюжими попытками черепахи перевернуться. Диляра слов внука не разобрала, но его смех бабушку порадовал. К его истерикам и нытью она привыкла, а смеялся он редко.

– Вот что значит чистый воздух! На глазах меняется ребёнок, – умилялась Диляра, глядя на обожаемого дебилоида и про себя добавила: – Ничего, сердце моё, скоро каждое лето здесь отдыхать будешь!..

Юный упырь подтянул штаны, открыл воду и стал поливать голову черепахи. Несчастная тортилла то втягивалась в панцырь, то вновь заныривала в струю, отчаянно растопыривая лапы. Мучителя это приводило в абсолютный восторг. Он буквально визжал от удовольствия, пытая бедное животное.

– Ты что делаешь? Зачем ты над ней издеваешься? – едва сдержавшись, чтоб не дать мальчишке оплеуху, негромко возмутился Тофик. «Обожанец» вздрогнул от неожиданности, он не заметил подошедшего сзади старика. Но старик поднял черепаху, отнял у мальчишки шланг и унёс бедняжку за ворота. – Топай давай, дурёха.

Мальчишка побежал жаловаться бабушке на «вредного старикашку». Он сжал до боли её руку и, брызгая слюной, грязно обзывал хозяина дома.

– Успокойся, потерпи, роднулечка, – урезонивала его Диляра, пытаясь высво-

бодить руку. – Не обращай внимания на дурака старого. Пусть сдохнет! А когда сдохнет, будешь делать, что угодно. Я тебе обещаю, цветочек мой! Иди, полежи пока там, под навесом. Вот, возьми бутерброды, чтоб он не видел. Там и с колбасой есть!

– А когда он сдохне-е-е-ет?! – скулил внучок.

– Скоро, скоро, миленький. Скоро, счастье бабушкино!

– Дача наша будет, да? А-а-а, – хныкало «бабушкино счастье»

– Будет, обязательно будет! Я тебе обещаю, сердце моё. Всё твоё будет! – И все черепахи, и лягушки, и ежи… Успокойся только, не плачь.

– Ежей не надо, они колючие и-и-и…

– Хорошо-хорошо. Не надо, так не надо. Ежей прогоним.

– Нет, не-е-ет, убьём!

– Ладно-ладно, убьём!..

– Кого это убивать собрались? – шутливо спросил хозяин дома. Начала разговора он не слышал. Мальчишка раздражал его, но грубить гостям невежливо. – Давай вёдра. Пока ты тут похлопочи, я сам инжир для вас соберу.

– Ой, спасибо, зятёк. Где у тебя чашки-машки?

– Чашки в кухне, в шкафу, а машки кто где, – пошутил зять. – Я посуду на самый верх переложил. Мышей много стало. Как ёжики завелись, так змеи и пропали. Зато мышкам раздолье.

– Травить не пробовал?

– Нет, не стоит. Это полёвки. Пусть живут. Они только летом шустрят. Зимой в норки спать уходят.

– Спать хочу-у-у, – заныл «обожанец».

– Пойдём, деточка, я тебе под навесом постелю, – засуетилась Диляра.

Хозяин проводил взглядом бабку с внуком, прижимающим к груди пакет с «диетической» снедью, неодобрительно покачал головой, тихонько выругался и пошёл собирать чудесные абшеронские плоды для гостьи и её чрезмерно засюсюканного чревоугодливого внука.

Когда он вернулся с двумя полными вёдрами золотисто-жёлтых, отборных, сладчайших плодов, столик на веранде был накрыт и заставлен сладостями, привезёнными свояченицей. Посередине красовалось блюдо с аппетитными глянцевыми пирожками. Старик заулыбался. Он накрыл вёдра газетными листами, поставил повыше на скамейку, чтоб муравьи не набежали, вымыл руки и уселся за стол.

– Удружила, своячка, спасибо. Вот это красота! Вот это вкуснота!

– И тебе спасибо, Тофик. Хорошо тут! Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты мне родней собственных братьев был всегда. Ума не приложу, чего сестре не хватает. Дом – полная чаша, муж – кормилец, хозяйственный, никогда ни в чём не отказывает. Не понять её! Чем старше становится, тем дурнее. Я всегда на твоей стороне была. С утра звонила, уговаривала со мной сюда приехать. На чёрта, говорит, он мне сдался со своей дачей!

– Совсем она обо мне не заботится… Я со зла даже припугнул, что разведусь. Не помогло. Сам себе готовлю, сам стираю. То в гараж бегу, то на дачу, чтоб занять себя, тоску гнать… Я и сам звал её на дачу. Посидим, говорю, постариковничаем, внуков позовём, соседей на самовар пригласим. Дался, говорит, мне твой самовар, помереть там можно со скуки. Справедливо, скажи?

– Дура она! Тут один воздух морской жизнь продлевает. Ты не расстраивайся, я ей выговор сделаю… Кушай пирожки. Там, в шкафу, ещё полпакета лежит.

– Внука не зовёшь?

– Пусть спит. Он кушал уже. Вообще надо его от мучного полностью оградить.

– Согласен, – утвердительно кивнул старик, с удовольствием надкусив пирожок. Было уютно и приятно. Он даже забыл о долге, который Диляра собиралась вернуть. Или притворился, что забыл. Бог с ним, с долгом. – Вкусно! Дай Бог тебе здоровья. Сестра твоя два дня из своей комнаты не выходит, зову – огрызается. Не знаю, какая бзя ей опять в голову стукнула.

– Забудь. Я же говорю – дура!

– Я ещё съем…

– Ешь, ешь! Ешь на здоровье, дорогой. Там ещё много.

– Спасибо. Вечером и под водочку можно. Может, останетесь? – старик умял все шесть пирожков, откинулся в пластиковом кресле, погладил живот и зажмурился от удовольствия.

– Нет, остаться не получится. Инжир скиснет. Сегодня-завтра варенье варить буду. Пожалуй, на следующей неделе заедем с ночёвкой. И винограда наберём. Что тебе приготовить?

– Пирожков ещё…

– С радостью! И пирожков напеку, и кутабов пожарю.

– О-о! Вот это просто сказка!

Долго ещё сидели. Почти два часа. О многом поговорили, многое обсудили, быль-старь вспомнили, на новое посетовали. Сказать по правде, Диляре и самой так понравилось на даче, что уезжать не хотелось: птички поют, уютно, зелено, до моря рукой подать. Но менять планы было поздно…

Скоро за воротами засигналила машина. Таксист приехал. С трудом удалось разбудить внука, крепко уснувшего на свежем воздухе. Он нехотя потянулся, поднялся с раскладушки, подошёл к дереву и бесцеремонно, вовсе без стеснения, стал мочиться. Диляра загородила его собой, даже ей стало неловко. Обожанец застегнул штаны и молча, не попрощавшись с пожилым человеком, вышел за ворота. Тут он заметил черепаху, ту самую, которую пару часов назад подвергал пыткам. Она пряталась среди камней и травы, и сама была похожа на один из булыжников. Мальчишка поднял бедняжку, перевернул на спину и положил прямо под заднее колесо такси. Затем открыл переднюю дверцу и сел рядом с водителем. Помочь бабке донести вёдра до машины и не думал. Тофик сам вынес их и пристроил в багажнике. Черепаху не заметил… Диляра поцеловала зятя на прощание, села в машину, ещё раз помахала рукой. Старик постоял, пока такси отъехало, зашёл во двор. Лёгкий толчок под задним колесом водитель принял за неровность дороги…

… – Что за воспитание! – возмущался Тофик противным мальчишкой. – Тупица, злыдня, кабан ненасытный. Что из него вырастет, упаси бог!

Мужчина поморщился, почувствовал слабую резь в желудке. Он забросил в самовар несколько щепок, раздул огонь. Достал из шкафа оставшиеся пирожки и съел все до одного. Все пять. Мясные пирожки, приготовленные заботливой свояченицей, были выше всяких похвал. Немного кружилась голова. Старик решил закончить прерванную днём поливку. Но, нагнувшись за шлангом, почувствовал тошноту и тяжесть в ногах. Головокружение усилилось.

– Переел, – подумал мужчина. – Что поделаешь, вкусно. Ничего, пройдёт. Не каждый день такой праздник для желудка бывает. Полежу немного, пройдёт.

Он зашёл на веранду, лёг на старый диванчик. Почувствовал нечто, похожее на качку.

– Землетрясение?.. – как в тумане мелькнула мысль. И осталась без ответа.

***

Варенье из инжира удалось на славу. Тягучий янтарный сироп, божественный вкус. Из двух вёдер четыре трёхлитровых балона вышло. Пока варила, дача не выходила из головы – замечательная дача, просто мечта!

В понедельник вечером позвонила сестра.

– Ты мне капли глазные когда принесёшь?

– Занесу, завтра. Тофик приехал?

– Нет ещё. Бухает, наверное, на свежем воздухе. Зачем он тебе?

– Уже незачем.

– Не поняла…

– И не звонил?

– У него нет мобильника.

– Это хорошо…

– Хорошо? Что хорошего? Он обычно в понедельник утром возвращается. Уже вечер.

– Соскучилась? – съязвила сестра.

– Ещё чего! Пусть хоть и вовсе не приезжает. Меня после твоих слов совсем страх взял. Две ночи ворочаюсь, уснуть не могу. А как усну, что только не приснится! Даже его во сне видела: сидит на скамейке, какую-то черепаху рядом положил и ласкает. Дребедень какая-то.

– Черепаха – это хорошо. Черепаха – это к богатству…

На утро следующего дня сестра позвонила снова. Верещала что-то несвязное. То ли причитала, то ли негодовала. Диляра поняла не сразу. Но потом всё стало ясно. Как оказалось, сосед заходил на дачу к Тофику за какой-то мелочью и застал его на полу перед диваном в нелепой позе, без сознания – инсульт. Вызвал родственников. Они взяли «Скорую», поехали на дачу. До больницы не довезли, умер по дороге. По обычаю сегодня похоронят…

***

– Надо дачу на тебя переоформить, – в канун сороковин сказала Диляра сестре. – Поедем завтра к нотариусу, дашь мне генеральную доверенность, паспорт, все документы. Я сама всё сделаю.

– Нужно с детьми посоветоваться…

– Зачем? На себя оформишь, крепче любить будут. Твоя собственность – гарантия их заботы. Я смотрю, ты совсем ничего не понимаешь. Короче, приготовь документы, завтра всё решим.

Получив на следующий день от сестры «генеральную доверенность с правом распоряжения всем движимым и недвижимым имуществом, правом купли-продажи, переименование и подписи», Диляра занялась переоформлением дачи на имя сестры. Ещё через шесть месяцев сестра, сама того не ведая, «подарила» дачу Диляре. Известно об этом стало только спустя три года, после её смерти. Банковский счёт с девяноста тысячами долларов, унаследованный сестрой от мужа, был оприходован ушлой младшей сестрицей ещё раньше. Всё исполнено без задоринки. Юридически законно. И никаких следов…

## ТАМАРА ВЕРЕСКУНОВА

### *Старость*

**А старость, словно старое вино, –**
**Перебродило всё, переиграло.**
**Осела кислота обид давно,**
**И горечь неудач уже пропала.**
**Отшлифовалось благородство чувств,**
**Исчезла на́прочь маета неверий...**
**И тонкий аромат, и терпкий вкус –**
**Всё явлено в букете в нужной мере.**
**И слово «выдержка» не зря вину дано –**
**Сродни людскому свойству слово это.**
**– Какого срока выдержки вино?..**
**А вы?..**
**– Уже семидесяти с чем-то...**

### *Прозренье*

**Как страус голову в песок –**
**Зароюсь в переводы.**
**Иначе – выстрелят в висок**
**Болезни и невзгоды.**

**Наивность поколения:**
**Всё ждем, что будет лучше...**
**Но бьют под дых, в колени нам,**
**Истопчут душу, сплющат.**

**И подлость к финишу рванет,**
**Откроются все шлюзы...**
**И осозна́ем мы враньё,**
**Предательство иллюзий.**

*** * ***

**Мы с годами становимся строже,**
**Мы с годами становимся суше,**
**Но память душу встревожит,**
**Брызнет озёрцем на сушу.**
**Поведет дорогами длинными**
**К сладким радостям, горьким бедам.**
**И любовь – песнь лебединая –**
**Прошуршит нам крылами белыми...**

## *Первая любовь*

*Сестре Свете*

**Первая любовь, пусть и без ответа,**
**Войдет в состав крови,**
**свою оставит мету.**
**Пожизненно рядом, с ревнивым оком:**
**Не то… не тот… всё «вроде» и «около»…**
**И вот увлечения и романы**
**Кончаются скоро, едва начавшись.**
**Любовь – это небо,**
**одно, безобманное,**
**А всё остальное –**
**не называйте счастьем…**

## *На улице Церетели*[1]

**Ах, как на улице Церетели**
**Слепые дожди в мае месяце пели!..**
**Крупные капли стреляли, цокали**
**По тротуару, по зданий цоколям.**
**Улицы левый берег зеленый**
**Ахал, радугой изумленный.**
**Солнечным струям нравилось литься**
**По людям, листьям, цветочным лицам.**
**Из женщин, зонты позабывших дома,**
**Дождик-художник – искусный дока,**
**Привычно умело, без халтуры**
**Лепил современных Венер скульптуры…**

**Случайный тот путь в пять минут с тобою,**
**Того слепого дождя скоротечность**
**Над моей головою и над судьбою**
**Навсегда превратились –**
**в Вечность.**

## *Без Вас*

**Не стало Вас. Как Вас не стало –**
**Не слышу лепет потоков талых.**
**Не стало Вас. Как Вас не стало –**
**Уже не любуюсь зарею алой.**
**Не стало Вас. Как Вас не стало –**
**Любимые песни петь перестала…**
**Не стало Вас. Как Вас не стало –**
**Пришло осознанье: я жить устала.**

---

[1] Улица во Владикавказе (Осетия, названа в честь грузинского поэта Акакия Церетели (1840-1915)).

## САИДА СУБХИ

## УСЛОВНОСТЕЙ ВЫШЕ

* * *

**Стираю границы – условностей выше**
**Взлетаю я птицей. И крыши – не крыши,**
**А крышки коробок, лежащих на складе.**
**Лежат у порога – лежания ради...**

**А я испаряюсь – все дальше и выше...**
**Чем выше, тем тише.**
**Чем дальше, тем ближе.**
**И я отрываюсь от тела, от плоти**
**В высоком полете к великой свободе.**

**Уже не цепляясь за что-то земное,**
**Я стала Вселенной, Вселенная – мною.**
**Забвенье... Но манит закон тяготенья –**
**Отбросила тень я в свободном паденьи.**
**В материю камнем вернулась, упала –**
**И стала эфиром, водой и металлом,**
**Потоком земного, живого начала...**

**Вернусь в человеческое, конечное –**
**И вновь устремляюсь**
**в бескрайнее, вечное...**

### *Конец стиха*

**Конец стиха – предвестник тишины,**
**смятенья, одиночества, бессилия.**
**С какой ни подступиться стороны –**
**очередная доза рефлексии...**

**Запечатлён лирический герой –**
**окрашен в цвет и предоставлен миру.**
**Кем станет он – Орфеем ли, Сатиром,**
**или самой Провидицей-Игрой?**

**Конец строки – рожденье двойника.**
**Не отменить начертанное всуе.**
**Папье-маше, обрывки дневника,**
**психоз, экстаз...**
**И всё *Тебя* рисует.**

* * *

**Нежданно и негаданно,**
**как на́ голову снег,**
**благоуханьем ладана,**
**теплом сердечных нег.**

**Сквозь розовое облако –**
**лазурные лучи**
**Божественного облика**
**мне грезятся в ночи.**

**Душа молчит, печалится,**
**по Музе слезы льет.**
**Галактика качается,**
**Вселенная поет.**

**Стихов лиро-эпических**
**в потемках тайных ген**
**мерцает электричество**
**на бронзовой фольге.**

**Поверх молочной скатерти**
**с медовой бахромой…**
**Как дочь грустит по матери –**
**я жду Тебя домой.**

**Звезду у неба вымолить,**
**тоскуя во хмелю…**
**Не выплакать, не вымолвить –**
**как я Тебя люблю.**

* * *

**Уносят прочь ночные поезда**
**блокнотик со стихами за границу…**
**А надо мной взошедшая звезда**
**хрустальными лучами серебрится.**

**Мне хочется ее зарисовать,**
**как в детстве, на полях худой тетради,**
**чтоб ни за что ее не потерять**
**свеченья в постороннем звездопаде.**

**Быть может, это Ангел сторожит**
**меня из поднебесного чертога?..**
**Я все гляжу, а звездочка дрожит**
**и чертит путь от запада к востоку.**

**Я знаю, скорым поездом в зарю**
**блокнотик со стихами воротится,**
**и свет звезды, которою горю,**
**как Ангел, предо мною воплотится.**

## *Собрату по перу*

**Не могу читать вас целиком.**
**В горле ком.**
**И в сердце тоже – ком.**
**От балкона к кухне босиком…**
**Интернет. Октябрь-точка-ком.**

**Поезд, из вагона – на перрон…**
**Симбиозом слёз и оборон**
**дрогнет ли точеное перо**
**по вдали тоскующем Пьеро?..**

**Может, разрешит мне мой вопрос**
**со стены взирающий Христос?..**
**Вновь окутан дымом папирос**
**каждый локон спутанных волос.**

**Не могу читать вас, не дрожа.**
**Каждый слог – как лезвие ножа.**
**Цепенеет, млеет, не дыша,**
**красотой сраженная душа.**

**Ночь вершит столичный праздный гул,**
**сновиденья тают на снегу.**
**Убежать – куда я убегу?..**
**Не могу читать вас, не могу…**

* * *

**Не покидай меня хоть Ты,**
**мой Ангел неземной!**
**Стихи – как свежие хиты…**
**Кто б знал, какой ценой!..**

**Спиной прижмусь к Твоей груди –**
**укрой меня крылом.**
**Увижу все, что впереди,**
**и вспомню о былом.**

**В словах всего не передашь…**
**Предчувствие строки:**
**рука, бумага, карандаш –**
**стихи, как дневники.**

**И всё, как в детстве, все всерьез:**
**хоть пистолет, хоть крест…**
**Стихотворение – как SOS,**
**как выстрел, как протест.**

**Бегут мурашки по спине,**
**прижмусь плечом к плечу.**

**Я – тот лунатик в простыне:**
**вот-вот – и полечу.**

**И я шепчу до хрипоты,**
**вымаливая «да»...**
**Не покидай меня хоть Ты,**
**останься навсегда.**

## *Воспоминание*

**Помню Киев: вечерний дендрарий**
**и промозглый ноябрьский смог,**
**где сердца мы себе ободрали**
**о коряги скрещённых дорог.**

**И собаки плутали в округе,**
**мимоходом глядя на чету...**
**Но, смыкая озябшие руки,**
**мы искали дорогу не ту.**

**Спрятав пальцы в твои рукавицы**
**и поправив нелепый берет,**
**нависая над смятой страницей,**
**не в тебе я искала ответ.**

**Помню эту тоску сквозь ухмылку**
**и мой рыжий потертый портфель,**
**помню голос, дрожащий и пылкий,**
**что на лето зовет в Коктебель.**

**В рандеву, на скамью подсудимых,**
**где каштаны, как стражи, стоят...**
**За ограду решетчатой льдины**
**Не вернуться нам, прежним, назад.**

## *Заговор*

**Держу Тебя за́ руку...**
**Минувшее – за́ реку,**
**текущее – заново,**
**грядущему вслед.**

**Держу Тебя за́ руку...**
**Минувшее – за́ море,**
**текущее – замерло,**
**грядущему – свет.**

**Держу Тебя за́ руку...**
**Минувшее заперто,**
**затёрто и замкнуто,**
**минувшему – Нет.**

* * *

**Не уходить от таинства влюбленности –**
**пусть будет, кем дышать, кого нести...**
**Не убегать от неопределенности,**
**чтоб не увянуть, мхом не зарасти.**

**Не уводить себя от столкновения**
**с самим собой – всегда настороже.**
**Вне обстоятельств, дат и поколения**
**крушить стереотипы и клише.**

**Опережая должное развитие,**
**быть эмбрионом, рвущимся на свет.**
**Пришедши в мир большого общежития,**
**искать того, чего на свете нет...**

## *Утро*

**Я помню это утро: я стою,**
**а ты лежишь под сонным одеялом...**
**Я до тебя, увы, не достаю,**
**вот и стою –**
**вот так и простояла,**

**Как в горле кость, лет двадцати пяти,**
**нагая, как египетская кошка –**
**в твоем углу и на твоем пути...**
**Ты спи, я постою еще немножко.**

**Как звон в ушах, как лезвие страницы**
**из справочника по психиатрии,**
**как мать у входа в детскую больницу,**
**как статуя Спасителя над Рио...**

**Как над Союзом – олимпийский мишка,**
**как над Землей – космический Гагарин,**
**как вдрызг ополоумевший князь Мышкин,**
**как плачущий над Библией викарий...**

**Как идол на алмазной колеснице,**
**как писающий мальчик на картинке,**
**как Менделеев над своей таблицей,**
**как камешек в распоротом ботинке...**

**Как Квазимодо перед Эсмеральдой,**
**как в линию влюбленный Амедео,**
**как Моне Лизе верный Леонардо,**
**как тот Ван Гог, тоскующий по Тео...**

**Стою у ног твоих как тень твоя,**
**в тот самый день, на этом самом дне.**
**И понимаю, что стою – *не я,***
**что этот день, как тень –**
**стоит во мне...**

## *На таможне*

*«Мы с тобою нерукотворны,*
*Нас нельзя пустить на конвейер…»*

*Радхика Раман (П.Асанов)*

**Моя Любовь прошла через таможню,**
**Она сказала, что теперь всё – можно.**
**Когда меня гнобили, как обузу,**
**Она была мне Матерью и Музой.**

**Выхаживая на больничной койке,**
**любя меня в аду и на помойке,**
**испытывая выдержку на прочность**
**и сердце – на порок и непорочность,**

**Она меня престолом соблазняла,**
**Но я не повелась и устояла.**
**Да, я прошла дресс-код и фейс-контроль**
**своей Любви – в дороге через Боль.**

**Она меня учила быть проворной,**
**вновь повторяя: мы *нерукотворны.***
**Она со мной пешком под стол ходила,**
**Она меня во всем опередила.**

**Она меня, как душу, разглядела,**
**Она меня обула и одела,**
**Она со мной молилась под забором,**
**Она – мои мерило и опора.**

**Она меня спасла и отпустила,**
**Она меня заранее простила,**
**я для нее всегда была красивой,**
**Она дала мне повод стать счастливой.**

**Моя Любовь прошла через таможню,**
**отныне ей заранее *всё* –**
**можно.**

**АИДА ФЕЙЗУЛЛАЕВА**

# ЯПОНИЯ В ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОМ ОБОГАЩЕНИИ К.БАЛЬМОНТА

Во всей русской литературе трудно найти писателя, чьё творчество носило бы столь универсальный характер, как у К.Бальмонта – поэта, прозаика, драматурга, критика, эссеиста и переводчика. Тяготение к мировой культуре, свойственное «старшим» русским символистам, стремление к освоению её глубинных пластов отличает всю его литературную деятельность. Неслучайно поэтический дар Бальмонта органично сочетался в нём с переводческим талантом. Число выполненных им переводов огромно, и один их библиографический перечень занял бы немало страниц.

Бальмонт – непревзойдённый и неповторимый переводчик, заложивший основу первоначальных переводов образцов мировой поэзии. Как поэт-переводчик он на долгие годы сохранил живой интерес к другим языкам и литературам.

*Давно уж с поэтами я говорю*
*Иных чужеземных садов.*
*Жемчужины млеют в ответ янтарю,*
*Я сказкой созвучной воздушно горю*
*Под золотом их облаков.*

Он знал почти все западноевропейские языки и много переводил с них. В 20-е годы поэт выполнил ряд новых переводов из славянских и литовских поэтов. Изучал Бальмонт и восточные языки. «Я победил преграду многих чужестранных языков и научился полнотою души жить в разных эпохах и с самыми различными народами. …Я читаю без затруднений на языках – французском, английском, немецком, испанском, итальянском, шведском, норвежском, польском, португальском, латинском. Прикасался к египетскому, еврейскому, китайскому, японскому, к языкам Мексики, но, к сожалению, слишком поверхностно. Занимался ещё грузинским и кое-как разбираюсь в греческом. Лепетал в путях по-самоански и по-малайски. Всё это богатство манит, но тяготы жизни мешают мне изучить столько, сколько хочу. Мне бы очень хотелось изучить арабский и египетский по-настоящему. Также китайский и японский».

Его больше влекли к себе экзотические страны (Мексика, Египет, Океания, Индия и др.), гораздо сильнее, чем Западная или Восточная Европа.

В поисках «интересного» человека, отличного от «делового» европейца, Бальмонт тянулся к «примитивным» народам, ещё сохранившим, по его словам, свежесть мироощущения, «невинность» и «чистоту».

Свою первую, краткую, заграничную поездку он совершил в июне 1892 г. (Скандинавия – земля его предков). К началу 900-х годов он объехал почти всю Западную Европу. Его основным местопребыванием вне России уже в ту пору становится Париж. «Большую часть нашей жизни с Бальмонтом, – вспоминает его жена Е.А.Андреева, – мы прожили за границей, в Париже, оттуда ездили в Англию (Оксфорд), Бельгию, Голландию, Италию и Испанию, любимую страну Бальмонта». Испанцы, по его мнению, были «не похожи на других европейцев», и, кроме того, он очень любил испанский язык «самый певучий и красочный из всех европейских языков».

Высоко ценил поэт-декадент и английскую поэзию. В 1897 г. он впервые побывал в Англии, когда читал в Оксфорде лекции по русской литературе.

Поэт-переводчик особенно любил Шелли, с творчеством которого он знакомил русских читателей на протяжении 90-х годов, переводил также Блейка, Байрона, Теннисона, ценил Уайльда, которому посвятил несколько статей.

Живя преимущественно в Париже, поэт-путешественник совершает поездки в Англию, Бельгию, Германию. Летом 1904 г. путешествует по Швейцарии и Испании. Уже тогда Бальмонт задумывает совершить кругосветное путешествие. «К январю я кончаю Шелли, Эдгара По и третий том Кальдерона, – пишет он в одном из писем к Вал.Брюсову, своему другу и соратнику, – затем в течение многих месяцев читаю миллион книг об Индии, Китае и Японии. Осенью будущего года еду в кругосветное путешествие в Константинополь, Египет, вероятно, Персия, Индия, часть Китая, Япония. На обратном пути – Америка. Путешествие – год. Если б Вы захотели поехать вместе со мной, это была бы сказка фей. Поедемте. Подумайте, что за счастье, если мы вместе увидим пустыню и берега Ганга, и священные города Индии, и сфинкса, и пирамиды, и лиловые закаты Токио, и всё, и всё».

С годами в его стихах выдвигается «восточная тема», звучат индийские и китайские мотивы («Горящие здания», «Будем как солнце»). Как видно, тональность сборников поэта определяется его «языческими» настроениями, живущего в единении со стихиями и испытывающего от близости к ним экстатическое состояние: горение, пожар чувств, страсть. Великолепный и красочный, «огненный» мир Востока утверждается в поэзии Бальмонта как антоним скучной и прозаической Европы, погружённой в свои прагматические заботы. При всём своём тяготении к Востоку, к романтическому и экзотическому миру Красоты и Природы, Бальмонт всегда испытывал искреннюю и глубокую привязанность к России, а также другим славянским странам. В 20-е годы, будучи во Франции, Бальмонт написал ряд статей о «славянском братстве». В течение многих лет Бальмонт с любовью переводил на русский язык произведения польских писателей, а также поэзию чехов, сербов, хорватов, словаков. Родственной славянскому миру он считал и Литву. Будучи в Париже, он писал и печатался в сборнике «Северное сияние» («Стихи о Литве и Руси». Париж, 1931). Или же, например, «Соучастие душ. Славия и Литва» («Россия и славянство». Париж, 1929, № 6, 5 января); «Славянское дружество» («Россия и славянство», 1929, № 40, 31 августа) и др.

Какой бы страной ни увлекался Бальмонт, он всегда обращался не только к языку, но и к фольклору – мифам, песням, преданиям, внимательно изучал их и пытался перевести их на русский язык. По убеждению поэта, именно они сохранили следы «первозданности», не замутнённые позднейшими культурными наслоениями. Каждому путешествию Бальмонта в новую страну предшествовало внимательное изучение поэтом её культурных памятников, чтение и изучение научной литературы и т.п., испытывая при этом, по его словам, «восторг изучения».

В одном из писем своим знакомым и друзьям Бальмонт писал: «Кончаю «Зовы древности» для «Пантеона». Все дни пишу. В душе светло».

Книга «Зовы древности» появилась в конце 1908 г. в петербургском издательстве «Пантеон» (серия «Мировая литература»), вскоре она была выпущена вторым – дешёвым – изданием. В 1923 г. в Берлине состоялось новое, расширенное издание этой книги.

В своих очерках, посвящённых Египту, Бальмонт обстоятельно рассказывал русским читателям о мифологии, истории, религиозных верованиях и культах Египта, изучал труды французских египтологов, пытаясь приблизиться к тайне этой древней страны. Однако субъективность восприятия неизменно одерживала в Бальмонте верх над любым знанием: «край Осириса рисовался поэту в розовых романтических красках. Достоверные описания поэта-путешественника перемежаются в его очерках и письмах с поэтическими восторгами и наивной умилённостью перед непознаваемым, таинственным «первозданным» миром и его обитателями.

Наиболее продолжительным и важным по своим последствиям было для Бальмонта его «кругосветное» путешествие, начавшееся в январе 1912г. с поездки в Англию, а оттуда в Южную Африку и дальше на острова – в Океанию 1 февраля 1912 г. Бальмонт и Е.К.Цветковская, его гражданская жена и «вечная спутница» отплывают из Лондона на Канарские острова, а оттуда – к мысу Доброй Надежды (Кейптаун).

Новая Гвинея, которую посетил Бальмонт, покорила его своим «первобытным» обликом.

Общаясь с туземцами островов Самоа, Фиджи, Новая Гвинея и др., Бальмонт внимательно наблюдал их обычаи, собирал предметы их культа и быта.

Из своего путешествия Бальмонт привёз в Европу множество фотографий, а также богатую этнографическую коллекцию, которую он пожертвовал затем Антропологическому музею Московского университета.

Чем сильнее восхищался Бальмонт обитателями океанских островов, тем более обострялось в нём чувство неприязни к колонизаторам-англичанам. «Англичане уничтожили красивые смуглолицые племена тасманийцев, и от них не осталось и следа, – рассказывал впоследствии Бальмонт в своих лекциях об Океании. – В Австралии то же явление – систематическое истребление туземцев».

В отличие от многих европейцев, Бальмонт обратил внимание на бедственное и бесправное положение туземцев, горячо сочувствовал им и справедливо возмущался жестокостью английских колонизаторов. В целом же ситуацию в «странах Солнца» поэт оценивал далеко не объективно. Он слишком идеализировал жителей Океании и видел их только такими, какими хотел их видеть: наивными, чистыми, свободными людьми, предающимися «естественной» любви на лоне природы, поющими и пляшущими в лучах солнца или при свете луны. Он не задумывался над тем, каковы реальные условия жизни этих «детей природы», занятых тяжким изнурительным трудом, ведущих борьбу за своё существование.

Будучи в Индонезии, поэт в своих письмах излагает восторженные впечатления от ярких и живописных картин тропической природы островов, в особенности на Яве, главном острове Индонезии, с его могучими деревьями и нежными розовыми лотосами, красной акацией и «птицами-небылицами», знаменитым ботаническим садом в городе Бейтензорг (в западной части Явы), где собраны деревья со всего земного шара.

Отчасти разочаровала Бальмонта Индия. Своей нищетой она напомнила ему Россию. «Трижды несчастная страна – безвозвратно пригнетённая», – так говорил он об Индии. Тем не менее Бальмонт увлекается древнеиндийской поэзией и принимается за перевод санскритской поэмы «Жизнь Будды», проявляет особый интерес к памятникам индийской культуры, переводит на русский язык драмы Калидасы.

Из письма к жене Е.А.Андреевой мы узнаём о том, что летом 1914 года в местечке Сулак на берегу атлантического океана (во Франции) Бальмонт узнаёт о начале первой мировой войны, которую он воспринимает как «злое колдовство». Конец 1914 и начало 1915 г. Бальмонт проводит в Париже, работая над переводом драм Калидасы. Поэта неудержимо тянет в Россию. «Я чувствую, что я бесконечно теряю как поэт, оттого, что я не живу в России, а лишь приезжаю туда. Я безусловно хочу жить в России, а за границу только приезжать». Весной 1915 г. через Англию, Норвегию и Швецию Бальмонт возвращается в Россию.

С сентября по декабрь 1915 г. Бальмонт совершает длительное турне по России (с запада на восток), выступает с лекциями. (Темы лекций: «Океания», «Лики женщины», «Любовь и смерть в мировой поэзии» и др.).

Вечера и выступления Бальмонта были чрезвычайно насыщены, протекали с огромным успехом, поэт ярко и вдохновенно говорил об Океании, читал стихи. Наряду с этим он продолжает заниматься самообразованием, вновь обращается к китайской истории и культуре, читает «Мифы китайцев», изучает языки (китайский и японский), занимается поисками исторического материала, написанного русскими синологами и изданного в Санкт-Петербурге в 1880-1890-е годы.

В конце 1915г. в Москве в издательстве «Скорпион» выходит в свет книга Бальмонта «Поэзия как волшебство», в которой наиболее полно выражен его взгляд на назначение поэзии. Лирическая поэзия, по Бальмонту, – это «внутренняя музыка», переданная размеренной речью и наделённая особым, волшебно-магическим смыслом. На примере народных сказаний и мифов (мексиканских, индийских, скандинавских и др.) Бальмонт-теоретик утверждает «первичность» и «самобытность» древней поэзии: «Первичный человек – всегда Поэт».

Наконец, в мае 1916г., происходит встреча Бальмонта с Японией – страной, которой суждено было занять особенное место в духовном мире русского поэта.

Все ранние русско-японские контакты были непреднамеренными, случайными, тем

более, что на протяжении трёхсот лет Япония была почти полностью «закрытой» страной, – вплоть до 1868 г., до реставрации Мэйдзи, иностранцы допускались лишь в два порта. Жизнь японцев была для окружающего мира как бы «за семью печатями».

О более серьёзных и целенаправленных культурных контактах можно говорить только начиная с печальных событий русско-японской войны, т.е. с 1905г. По наблюдению акад. Н.И.Конрада, в среде японских литераторов имела хождение фраза: «Япония победила Россию в войне, но полностью побеждена в литературе. Японцы народ трудолюбивый и тянутся к знаниям».

К 1910 году они уже неплохо знали русскую классическую литературу XIX века, особенно прозу Толстого и Достоевского, книги которых считались в Японии бестселлерами и открывали списки «лучших книг года». За ними следовали произведения Тургенева, Гоголя, Чехова, Гончарова, Горького, проза Пушкина.

К 1916 г. (т.е. времени посещения Японии Бальмонтом) уже произошло важное событие в истории русско-японского сближения: в сознании японцев был преодолён некий синкретизм восприятия, русская литература понималась не как расплывчатое целое (так было в конце XIX и в самом начале XX века), а определились индивидуальные черты отдельных писателей: они как бы приблизились к японцам, обозначились пропорции.

В 1916г. Бальмонт неожиданно для себя встретил в Японии знание и понимание русской литературы, что вызвало у него искреннее удивление. Японцы смогли уловить близкие им поэтические ассоциации, которые помогли восприятию русского символистского стиха. Многое в поэзии Бальмонта интерпретировалось японцами как новое, необычное, фантастическое, и именно эти свойства, контрастные по сравнению с собственной поэтической традицией, интересовали японцев в наибольшей степени, они давали импульс их собственному творчеству.

Разработка «русской» темы означала для японских филологов скорее углубление знания о новейших европейских литературных направлениях; их взгляд на мировую поэзию становился более отчётливым. Появление же самого Бальмонта в Японии – первого поэта из России, побывавшего в этой стране, – произвело на японцев большое впечатление и вызвало множество откликов.

Присущая японцам образованность, знание многими, почти всеми, хрестоматийных поэтических текстов и сюжетов, повсеместное распространение гуманитарных знаний– предмет удивления и восхищения европейцев, посещавших Японию. По этому поводу Востоков писал: «Японцы– все поэты. Стихи льются там естественно, без всяких усилий, у всех, мужчин и женщин, от самых низших до самых высоких слоёв общества. Уличный торговец, носильщик, рикша, бедная женщина-работница – все прирождённые стихослагатели, и все поэты не только в смысле формы, но и в смысле настроения. …Главный источник поэзии Японии, вдохновлявший лучших её поэтов, – чувство природы, способность слияния, разговора с ней».

Небезынтересно, что японское влияние в то время часто приходило не с Востока, а с Запада, например, через французских импрессионистов, увлекавшихся японскими гравюрами, миниатюрной живописью, архитектурой, костюмом. Страстным приверженцем японской живописи был, как известно, Максимилиан Волошин, близко знакомый с Бальмонтом. Живя в Париже, где он часто общался с поэтом, Волошин в середине 1900-х годов серьёзно изучал в Национальной библиотеке произведения японских мастеров, оказавших решающее влияние на его собственную живописную манеру.

Решение посетить Японию весной 1916 года было связано у Бальмонта с маршрутом его гастрольной поездки, который вёл на Дальний Восток. 10 апреля 1916 г. Бальмонт приезжает во Владивосток. Местная газета «Далёкая окраина» уже 5 апреля извещала своих читателей о лекциях известного поэта, назначенных на 11 и 12 апреля. Первая лекция была озаглавлена «Любовь и смерть в мировой поэзии», вторая – «Вечер поэзии Бальмонта». Она сопровождалась чтением стихотворений из ещё ненапечатанной книги «Ясень. Видение древа», а также многочисленных отрывков «из различных произведений мировой поэзии».

23 апреля, сидя во владивостокском отеле «Централь», Бальмонт писал Е.А.Андреевой: «Несмотря на необходимость последнего выступления, я принял ряд малых, но важных героических мер, благодаря которым уже сегодня утром, в 10 часов, я получил заграничные пас-

порта. В то же время мои здешние друзья обо мне хлопотали, и в результате я еду в Японию, в понедельник 25-го, необычным способом: на торговом корабле, где чудесные каюты, но где, кроме меня, Елены и корреспондента «Далёкой окраины», нет никаких пассажиров.

Две недели, проведённые Бальмонтом в Японии, были до предела насыщены поездками, осмотром достопримечательностей, встречами. Яркие картины Японии, обворожившей Бальмонта в первые же часы, переданы в его письмах, по которым можно воссоздать хронику пребывания русского поэта на японских островах. «В Токио я видел столько японок и японцев, в парке Уэно и на улицах, что мне кажется, будто я жил здесь, в Японии, уже много месяцев. А при входе в парк стоит гигантский ясень саженей в 5 в обхвате и с совершенно окаменевшим стволом, но живой, с прекрасными развесистыми зелёными ветвями. Увлёкся там двумя маленькими японочками и их заинтересовал. Но это так мимолётно. Я влюблён в отвлечённую японку, и в неё нельзя не быть влюблённым. Так много во всех японках кошачьей и птичьей грации. Это сказочные зверьки. Это не человечицы, а похожие на человеческих женщинок маленькие жительницы другой планеты, где всё иное, очертания, краски, движения, закон соразмерностей. Когда они откликаются на зов, они произносят быстрым, охотным, полудетским голоском: «Э!» или «Ай!». Это «Ай» так обворожительно, что оно мне, верно, будет сниться всю жизнь. И они радостно счастливы от каждого обращения к ним. Им весело побежать, качаясь маленьким тельцем, и принести что-нибудь. Они– воплощение изящной внимательности».

Бальмонт чутко улавливает гармонические звуки жизни, построенные по законам иного лада, чем европейский.

«Я был вчера в Камакуре. Там гигантский Будда. В старинном городе находится статуя Будды высотой в 15 метров (создана в 1252г.). Там монастыри и храмы и великолепное морское побережье (взморье). …Вся Япония – шедевр, вся она – воплощение изящества, ритма, ума, благоговейного трудолюбия, тонкой внимательности». Поразил поэта своей красотой Никко – храмовый комплекс неподалеку от Токио, гордость японских зодчих. «Не прекращается, а лишь усиливается моя влюблённость в Японию, – пишет поэт. – Изящные люди среди прекрасной природы. Но ведь это идеальное сочетание!».

«Я путешествую по Японии по прихоти сердца, – рассказывает Бальмонт в своём письме А.Н.Ивановой, – стараясь нигде не задерживаться, даже на лишние полсуток, и желая увидеть возможно больше разного, на те гроши малые странствуя, которые у меня остались от последних выступлений. Но путешествовать по Японии совсем недорого. В Токио меня замучили литературные посетители. Оказывается, я очень известен в Японии».

Поэта торжественно и бурно встречали, от репортёров не было отбоя, его узнавали на улицах, токийские газеты помещали на своих страницах его портреты, стихи, писали статьи и очерки о нём. Бальмонт был искренне удивлён этим восторженным приёмом и чрезмерным вниманием, тёплым и почтительным отношением к себе японцев.

Неожиданными были и восторженные приёмы, которые устроили ему в Японии журналисты и представители литературно-издательского мира, а также наряду с этим приходилось писать автографы, вести трудные, утомительные подчас разговоры с репортёрами и представителями японской прессы, молодыми поэтами, редакторами журналов, переводчиками и фотографами, желающими запечатлеть в своей памяти встречу с знаменитым русским поэтом и интересующимися впечатлением, произведённым на поэта их родиной. Менее всего рассчитывал он встретить такой радушный, полный энтузиазма приём в стране, где, казалось бы, он мог пройти совершенно неизвестным и незамеченным.

По возвращении Бальмонта в Петербург наступает (как это обычно у него бывало) период интенсивного творческого осмысления всего пережитого им за время путешествия. Поэт задумывает серию статей о «Стране Солнца», пишет посвящённые ей стихотворения, предполагает всерьёз заняться японским языком. В своих публичных выступлениях он постоянно вспоминает Японию. В очерке-наброске «Игранья раковины» рассказывается о посещении им японских городов. Незнакомая ранее страна, чем больше думал о ней поэт, открывалась ему не только как экзотический край самураев и гейш, но и как изысканный прекрасный сад – воплощение самой Красоты. «Япония, – писал он в своём очерке, – страна смелейших бойцов и нежнейших женщин, край, где чтят предков, где уважают растения, где не мучают и не по-

жирают животных, где скрывают свою боль и показывают свою радость, где, исполняя всякую работу, в конце концов всё-таки остаются чистыми, где чистота есть первое условие жизни, и на полу чище, чем на столах в других странах».

Свою близость к Японии, духовное родство с ней Бальмонт пытался объяснить собственной «солнечностью». Поэт всегда подчёркивал и в стихах, и в очерках это начало, которое считал своей особой чертой, даром: «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце». Стремление «быть как Солнце», не оставлявшее Бальмонта и в зрелые годы, естественно сливалось в нём с теми чувствами восхищения и любви, которые пробудила у него Япония – Страна Восходящего Солнца.

Душа Японии выражена, по Бальмонту, не только в облике и характере японских женщин. В ещё большей мере она проявляется в традиционной японской поэзии. Страстный интерес Бальмонта к японской стране невозможно отделить от той увлечённости, с которой он в 1916 г. изучал произведения японских поэтов (конечно, в переводах на западноевропейские языки) и пытался «перепеть» их по-русски.

Любая страна, с которой приходилось знакомиться Бальмонту, воплощалась для него в поэзии её народа. Точно так же душа Японии запечатлелась, по убеждению Бальмонта, в коротких стихотворениях – танка и хокку. «Перепеваю японские танки. Я ими пленён. Не очаровательно ли пропела нежная японочка IX века Исэ:

*В нитку скручу я*
*Звуки рыданий,*
*Вздохов моих.*
*На нить нанижу я*
*Жемчужины слёз.*

В очерке «Страна-поэма» Бальмонт пишет: «Я – русский, и я европеец, потому, конечно, я люблю больше свою поэзию, и она мне кажется более совершенной по глубине и силе. Но в то же время я не могу не признать, что кроме испанцев, создавших подобные же трёхстрочные и четырёхстрочные песенки, ни один европейский народ не умеет в трёх, в четырёх, в пяти строках дать целый законченный образ, всю музыку настроения, полное прикосновение души к душе, как это умеет сделать японец».

По своему духу и настроению японская традиционная поэзия была созвучна бальмонтовской лире с её неизменной импрессионистической окраской и в этом смысле многие японские поэты оказались ему изначально близкими. Не случайно переводы Бальмонта с японского получили восторженную оценку со стороны такого знатока, как Ямагути Моити. Японский учёный писал Бальмонту: «Читаю Ваши переводы и всё, что Вы говорите о японской поэзии, читаю и умиляюсь… Некоторые переводы до слёз хороши. Вы воплотили в действительности то, что было в мечтах души моей».

Переводы известнейших стихотворений, шедевров японской классической традиции (Бальмонт был во многих случаях первым переводчиком знаменитых танка и хокку, а некоторые до сих пор известны только в его переводах) были сделаны им с великолепных прозаических подстрочников, созданных лучшим в Японии знатоком русского языка и литературы Ямагути Моити.

Даром судьбы были для Бальмонта и друзья, приобретённые им в Японии.

Вернувшись в Россию, Бальмонт сохраняет связь не только с Ямагути Моити, но и с другими японскими друзьями. Он обменивается с ними письмами, посылает в Японию все свои статьи и переводы из японских поэтов, появляющиеся на русском языке. В ответ из Японии, наряду с письмами, приходят журналы и книги, в которых печатаются его произведения.

Особым расположением Бальмонта пользовался очаровательный Осэ – молодой поэт, переводчик, преподаватель Токийского университета Васэда Айка Осэ, о котором вспоминал Бальмонт в очерке «Игранья раковины». «Я радуюсь, что у меня есть в Японии такие преданные друзья», – пишет он в письме к Цветковской.

Столь восхитившее Бальмонта письмо А.Осэ (написанное по-русски) сохранилось в ар-

хиве поэта: «Вы пришёл, неожиданно отошёл, как тень» – в таком чисто японском стиле вспоминал Осэ о приезде Бальмонта в Японию. Из письма явствует, что Осэ рекомендовал очерки русского поэта в «Литературный журнал университета Васэда».

Особое место в ряду японских знакомств Бальмонта занимают его связи и встречи с Нобори Сиому, известным японским русистом, профессором влиятельного университета Васэда в Токио, которому принадлежит важная роль в знакомстве японцев с русской литературой.

Изучив русский язык и литературу, Нобори Сиома всерьёз занялся переводом русской классики, увлёкся Достоевским и в 1914 году опубликовал перевод «Униженных и оскорблённых», в 1911г. издал очерк «Великий Толстой», переводил произведения Толстого, Горького, Куприна, Короленко, а в 20-годы перевёл книгу Мережковского «Толстой и Достоевский».

В 1915 году Нобори Сиому выступил как литературовед, издал книгу «Современные идейные течения и литература в России», где подробно писал о русском символизме, в том числе и о Бальмонте. Именно эту книгу он подарил Бальмонту в день их знакомства в Токио. «Вдумчивый, похожий на наших северян Нобори, – вспоминал о нём Бальмонт, – принесший мне свою книгу «Течения русской поэзии» (в очерке «Игранья раковины»).

В своём фундаментальном труде – монографии объёмом почти в 800 страниц – Нобори Сиому сумел описать, довольно подробно и совершенно достоверно, все литературные течения (акмеизм, футуризм, символизм и др.), представил портреты многих деятелей русской литературы, уделил много внимания цитатам из произведений поэтических, прозаических, а также из теоретических статей, воспоминаний, автобиографий и т.д. Это своеобразная энциклопедия русской литературной жизни начала XX века. У японского учёного несколько иное, новое отношение к русскому символизму, более тонкое и проникновенное изучение его, с выявлением общности и близости с японской поэзией. Как считает Нобори Сиому, символические обозначения идей Бальмонта – основателя русского символизма: свет, мрак, ветер, лунный свет, буря, вода, земля, дерево, трава (все эти образы необычайно близки японцам). Упомянув о воздействии Бодлера, о романтических пристрастиях русского поэта, Нобори Сиому выделил ключевые понятия его поэтики: иллюзия, видения, мечты, звучания, настроение. Нобори Сиому заинтересовала тема города в поэзии Бальмонта. Приведены некоторые «городские» стихотворения русского поэта-символиста в переводе Нобори Сиому. Переводы эти точны и передают музыку стиха Бальмонта.

Для поэта-символиста, живущего ощущением мгновения, вознесшегося над изначальным временем и пространством, вне мгновения нет ни поэзии, ни солнца, ни луны, ни лет. Идея и ощущение мгновенности созвучна была некоторым представлениям японцев о времени, о бренности и быстротечности жизни. С идеей мимолётности Сиому связывает свойственную Бальмонту переменчивость его «я» («Я вечно другой»), японский учёный называет его «поэтом иллюзий», говорит о том, что Бальмонт в стихах «даёт лишь мгновения».

Бальмонт считал, что над мраком земной жизни, выше её, в фантастическом мире мечты, в другом мире, который он создаёт, существует истинная жизнь. Недаром в заголовках газетных статей были использованы названия глав из книги Нобори Сиому: «Изысканный индивидуалист Бальмонт», «Поэт мгновения», «Комета и Летучая звезда русской поэзии» и др.

Весьма близкая японцам идея мимолётности, бренности, неистинности существования, привитая буддизмом к японскому искусству – живописи, гравюре, поэзии, прозе – в стихах русского поэта получала совершенно неожиданную трактовку.

*Не кляните, мудрые. Что вам до меня?*
*Я ведь только облачко, полное огня.*
*Я ведь только облачко. Видите: плыву*
*И зову мечтателей… Вас я не зову*!

Яркие экзотические образы солнца и луны, созвучные японской поэзии и занимающие в творчестве Бальмонта заметное место, представляются Нобори Сиому чрезвычайно важными, вокруг них, по его мнению, концентрируются основные мотивы бальмонтовской лирики.

Экзотический «имидж» далёкого поэта имеет много общего с поэтами Японии. Однако

присущий Бальмонту индивидуализм был сравнительно новым понятием для Японии. В главе своей объёмной монографии японский учёный изучает «изысканный индивидуализм» Бальмонта и вновь возвращается к мысли о том, что стихи поэта – это запечатлённые мгновения. «Для него жить – значит быть во мгновениях, отдаваться им. Жизнь представляется поэту потоком мгновений».

*Я не знаю мудрости, годной для других,*
*Только мимолётности я влагаю в стих.*
*В каждой мимолётности вижу я миры,*
*Полные изменчивой радужной игры.*

В главе «Особенности русского символизма» Нобори Сиому, назвав русский символизм «результатом взаимодействия России и Запада», подробно говорит о Мережковском, Гиппиус, Бальмонте, Сологубе, Брюсове, причём Бальмонта он справедливо относит к «столпам символизма», к «старшим», а младшими называет Вяч.Иванова, Андрея Белого, Городецкого, Блока. На примере творчества Бальмонта японский литературовед пишет о соединении в стихах символистов музыки, философии, поэзии. Символисты создали особенную атмосферу в русской культуре, они, – писатели, тонко чувствующие трагизм своего времени, – решили перебороть духовный кризис и произвели революцию в поэзии.

Особенность произведений Бальмонта состоит в том, что в его поэзии ощущается стремление проникнуть в идеальный мир, который возвышен над временем и пространством. Он перемещает людей и обстоятельства своего окружения в иной мир, он одушевляет свой идеал и вырывает его из реальной жизни. Он переносит свой взгляд на неживые предметы и разъясняет космические силы с философской точки зрения – так создаются символистские стихи.

Японцы ценят в стихах Бальмонта солнечность, яркость красок и тонкость ощущений природы. Они находят, между прочим, что, несмотря на кратковременность своего пребывания в Японии, русский поэт очень метко схватил основные черты японской природы и японского национального характера. Все очерки Бальмонта о Японии переведены на японский язык по нескольку раз.

Нобори Сиому запомнились и показались лестными слова Бальмонта: «Японцы, с одной стороны, – импрессионисты, с другой – символисты».

Приезд Бальмонта в Японию оказался для Японии заметным культурным событием. Справедливо замечание Бальмонта, обронённое им в письме к Е.К.Цветковской после получения японского журнала, где было помещено письмо Бальмонта к Ямагути Моити, а также переводы стихотворений «Самурай», «К Японии» и «Японке»: «Японцы окончательно пленились мной – и пленяют меня». В очерке «Япония. Белая хризантема» – этом удивительном эссе – поэт задаётся вопросом:

«Почему же я, чужестранец, так близок к Японии? Я знаю. Нас обвенчало Солнце. Я иду, а сердце поёт: *Скажи, о, сердце \ Сынов Ниппона: \ Навстречу Солнца \ У горной вишни \ Цветы цветут*».

«Я смотрю, как падают и вьются снежинки. Они все похожи, и все различны. Они падают мне на руку и нежно тают. Воздушные кристаллинки. Невесомые звёздочки. Они падают на лицо мне, и не поймёшь – обжигают слегка или слегка холодят щёку. Они касаются угла моих глаз. Ресницы мои дрожат, точно лёгкие крылья бабочки коснулись их. Или нет, точно маленькие-маленькие феи не хотят целовать моих губ, но хотят целовать мои глаза. «Это хокку», – шепчу я себе, – это трёхстрочные японские малютки хокку». Я говорю себе: «Нужно написать хокку». И в уме моём рождается троестрочие:

*Дыханье ветра*
*Из белой тучки*
*Плетёт ковёр.*

Это мало, думаю я. Нужно что-нибудь ещё. Но тотчас же говорю себе – довольно. И ти-

хонько смеюсь, припоминая слова одного японца: «Написать две-три хокку, этого совершенно достаточно для целой человеческой жизни».

Русский поэт-символист верно уловил и осмыслил общенародный характер этого уникального и идеального явления искусства. «Японская танка, – пишет Бальмонт, – может быть менее и более красива, менее и более очаровательна. Но никакая японская танка не может быть некрасивой, как не может быть некрасивой в пруду ни одна золотая рыбка».

Небезынтересны и дальнейшие наблюдения великого поэта, пытающегося разгадать тайну «краткого речения в поэтической форме». «Я думаю, она коренится в способности людей Востока к глубокому молчанию. Люди Востока любят говорить, как и мы, но мне кажется, они не любят болтать, как непомерно болтают европейцы. Они любят говорить, когда им есть что сказать. Отсюда – глубокие восточные поговорки. Не отсюда ли и эта иссечённая поэтическая форма? Японец душою своей долго смотрит в своё чувство, прежде чем о нём заговорить».

Свою близость к Японии, духовное родство с ней Бальмонт пытался объяснить собственной «солнечностью» – поэт всегда подчёркивал и в стихах, и в очерках это начало, которое считал особой чертой, даром.

*Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце.*
*А если день погас,*
*Я буду петь… Я буду петь о Солнце.*
*В предсмертный час! –*

таково самовыражение пылкого и пламенного поэта, пристрастного к Солнцу, от которого он получает духовную энергию.

Стремление «быть как Солнце», не оставлявшее Бальмонта и в зрелые годы, естественно сливалось в нём с теми чувствами восхищения и любви, которые пробудила у него Япония – Страна Восходящего Солнца.

Солнце ассоциируется у поэта с огнём и пламенем. Неслучайно он слагает «Гимн Огню», навеянный огнепоклонничеством, лежащем в основе религии зороастризма.

Кстати, о своём «горении» он пишет и в стихотворении, посвящённом кораническим мотивам, «Я обещаю вам сады» с эпиграфом «*Коран*».

*Я обещаю вам сады,*
*Где поселитесь вы навеки,*
*Где свежесть утренней звезды,*
*Где спят нешепчущие реки.*
*…Идите все на зов звезды,*
*Глядите: я горю пред вами.*
*Я обещаю вам сады*
*С неомрачёнными цветами.*

Следует отметить, что из всех японских знакомых Бальмонта Нобори Сиому был, конечно, более других осведомлён о русском поэте. В почти 800-страничной монографии Нобори Сиому сумел описать, довольно подробно и совершенно достоверно все литературные течения (акмеизм, адамизм, футуризм, символизм и др.), представил портреты многих деятелей русской культуры конца XIX – начала XX веков, причём много внимания уделил цитатам из произведений поэтических, прозаических, а также из теоретических статей, воспоминаний, автобиографий и т.д.

Примечательно, что в разделе «Символизм» много места уделено творческой биографии Константина Бальмонта. Японский учёный представил читателям 16 поэтических и прозаических книг Бальмонта. В главе «Бальмонт – поэт мгновения» Нобори Сиому писал, что с приходом Бальмонта в поэзию «новые мелодии зазвучали в русском литературном мире», связывая это новое веяние с именем великого французского поэта Шарля Бодлера.

Известно, что образ «царственного Бодлера», как называл его Бальмонт, был запечат-

лён им в поэтическом посвящении «К Бодлеру»:

*Познавший таинства мистических ядов,*
*Понявший образность гигантских городов,*
*Поток бурлящийся, рождённый царством льдов.*
*…Пребудь же призраком навек в душе моей,*
*С тобой дай слиться мне, о маг и чародей,*
*Чтоб я без ужаса мог быть среди людей!*

Упомянув о воздействии Бодлера, о романтических пристрастиях русского поэта, Нобори Сиому выделил ключевые понятия его поэтики: иллюзия, видение, мечты, звучание, настроение. Бальмонт, по его мнению, вместе с Мережковским и Сологубом, стал основателем русского символизма. Стихи Бальмонта в переводах Нобори Сиому точны и передают музыку стиха Бальмонта, их волшебство и колдовскую силу, насколько это вообще возможно в иной стихотворной системе, «без рифмы– рифма, как уже говорилось, несвойственна и японской поэзии».

Шедевром поэзии считали японцы и знатоки поэзии известное стихотворение Бальмонта «Чёрный чёлн».

*Вечер. Взморье. Вздохи ветра.*
*Величавый возглас волн.*
*Близка буря. В берег бьётся*
*Чуждый чарам чёрный чёлн.*

Назвавший русский символизм «результатом взаимодействия России и Запада», Нобори Сиому подробно говорит о Мережковском, Гиппиус, Бальмонте и Брюсове, причём Бальмонта он справедливо относит к «столпам символизма», к «старшим», а «младшими» называет Вяч.Иванова, Андрея Белого, Городецкого, Блока. На примере творчества Бальмонта японский литературовед пишет о соединении в стихах символистов музыки, философии, поэзии.

В 900-е годы, – как объективно рассуждает и мыслит японский учёный, – именно Бальмонт представлял русский литературный мир, в то время он отдал дань романтизму. И хотя у него не достало сил на то, чтобы стать первым в поэтическом мире, он, научившись многому у Бодлера, <…> вдохнувшего много индивидуального во французский романтизм, всё же произвёл революцию в поэзии. <…> Особенность произведений Бальмонта состоит в том, что в его поэзии ощущается стремление проникнуть в идеальный мир, который возвышен над временем и пространством. Он перемещает людей и обстоятельства своего окружения в иной мир, он одушевляет свой идеал и вырывает его из реальной жизни. Он переносит свой взгляд на неживые предметы и разъясняет космически силы с философской точки зрения – так создаются символистские стихи. Его тема – сознание и опыт городского жителя, в этой теме отразилась судьба самого Бальмонта.

Привязанность и константный интерес Бальмонта к Японии, роль и воздействие Японии в духовно-творческом обогащении великого поэта, его статьи об этой стране, цикл стихов, посвящённых Японии, его деятельность как переводчика японской поэзии – яркое, уникальное явление, подобного которому не знает история русско-японских культурных отношений.

**НАДИР АГАСИЕВ**

# ОТРАЖЕНИЯ-2

*В преломленном временем ракурсе*

*«Это было в те дни, когда я бродил*
*голодный по Христиании, городу,*
*который навсегда накладывает*
*на человека свою печать...»*

*Кнут ГАМСУН, роман «ГОЛОД»*

*Мне настолько нравится роман «Голод», что у меня на долгие годы остался соблазн начать так же, как и Кнут Гамсун: «Это было в те дни...» Кнуту Гамсуну я верил, раз уж он написал: «это было...» – значит, действительно было. Но начать так же у меня не получалось, ничто в моей жизни под такое начало не укладывалось. И вот теперь, вспомнив «постулат» Андрея Битова, которому я тоже верю: «Хорошо придумывать то, что было, и невозможно сочинить то, чего не было...», я намеренно, подражая Гамсуну, написал:*

...Это сложилось в те дни, когда какое-то время мы с женой жили в Чехии, в небольшом курортном городке на Эльбе – Подебрадах, в городе, по которому я подолгу «бродил» бодрым шагом, выбивая из крови сахар, и который назвал про себя городом «Доброго Дня».

И именно в этом Добром городе я встретил однажды на рассвете женщину с пучком соломы в руках, предложившую мне выпить пива.

*Прочитал вслух, прислушался. Вот только бы верилось, что женщина с пучком соломы была. А она действительно была. Всех называла Фиби, наверное, и меня, и маленькую противную собачку породы такса, которую прямо-таки выхватила из-под носа обнюхивающей ее громадной псины, уложила себе на колени во дворе круглосуточно действующего пивного бара и, приговаривая «Фиби, Фиби, Фибушка», принялась восторженно массировать брюхо животины. Ушла в это дело, оставив общение со мной на потом.*

*«Фибушка! Уж не русская ли? – обрадовался я. – Оборотилась в чешку, но русская, как же иначе».*

*И такса казалась мне узнаваемой, у одного моего знакомого была точно такая же противная собачонка, которая регулярно, чуть ли не ежеквартально, приносила ему щенят – неплохую надбавку к пенсии. Слегка поднатужившись, эта злючка кривоногая выдавала потомство – по пять-шесть кривоногих таксят с установленной на продажу таксой.*

*«Неужто отпрыск «легких» потуг злобной таксы? До Чехии добрались, до Подебрад... И чего это таксы преследуют меня?»*

*У друга моего детства Генки была собака схожей масти по кличке Дамка. Она была не такой противной, мы даже пытались снять ее в*

нашем любительском фильме. До Дамки у Генки была еще одна собака, по кличке Шарик, из «дворян», самой распространенной породы. Мы хоронили Шарика с Генкой, закопали под горой, и именно тогда, у бугорка Шарика, я произнес свой первый тост: «Прощай, Шарик, ты был хорошей собакой!» – сказал я, выпив первый раз в жизни браги. В фильме Генкина такса должна была переворачивать страницы титров. Но это у нее никак не получалось. Мы злились, я крыл ее чуть ли не матом, хотя был виноват я, а не Дамка.

*Женщину эту, но без пучка соломы, и солому пучком без женщины мы с женой видели и раньше. Женщина встретилась нам на вокзале. Она стояла на перроне, держа за запястье девочку лет одиннадцати-двенадцати. Ждала, как и мы, поезд на Колин. Меня сразу в ней что-то насторожило, может, то, что она как-то нервно ожидала, а может, и то, что девочку держала за запястье, а не за ладонь. Будто схватила, удерживает насильно.*

*Девочка рассеянно оглядывалась по сторонам, поймав мой взгляд, вскинула брови. Ей нужен был зритель. Принялась играть в классики. Мы нарисовали с ней мысленно на бетоне классики, она – свои, я – свои. Она играла, я смотрел. В нарисованных мною классиках она доходила до четвертого класса, настолько должны были позволять их вытянутые руки, возвращалась обратно на исходную позицию.*

*Я смотрел на женщину, на девочку, на часы, висящие над платформой. До поезда на Колин оставалось еще три минуты. Он придет вовремя, точно по расписанию.*

*В Подебрадах в минуты тягостной скуки я, бывало, забредал на вокзал соприкоснуться с великим, посмотреть «Прибытие Поезда».*

*Эти величественные двухэтажные поезда-красавцы «не пугали», прибывали на вокзал ожидаемыми гостями. Отбыв, оставляли после себя не сразу заполняющуюся пустоту. Вот бы суметь увидеть эту пустоту, отобразить, снять фильм в беззвучном, немом варианте. «Отбытие Поезда». Посвятить какой-нибудь годовщине первого фильма «Прибытие Поезда». Поезд отходит, и все замирает, останавливается на полуслове, в полушаге. Жизнь продолжается в другом измерении, в 24 кадра в секунду ее не отобразить.*

*Каждый раз в ожидании поезда что-то противное во мне жаждало уличить его в опоздании. Ну что вы все со своим порядком, можно разок и нарушить. Жить по расписанию – это не то, что по писанию. Но поезда не опаздывали. И автобусы в Подебрадах всегда приходили вовремя.*

*Я смотрел на женщину с девочкой, на часы на платформе, на все в округе, впитывал в себя, собираясь везти с собой этот «груз», авось, понадобится. Лишним ничего не бывает, даже собственные ощущения, если уж они возникли, значит, пригодятся.*

*«Запечатлел, словно наколку оставил: женщина в легком цветастом платье, тело много моложе лица».*

*Я, конечно, мог допустить, что ножки у старушки все еще были ножками, но чтобы при стареющем лице тело все еще оставалось юным... Женщина с ножками и с личиком старческим...*

*– Платье вон на той женщине из какой ткани? – спросил я у жены. На чужбине говорить по-русски или по-азербайджански – одно удовольствие, можно не опасаться, что поймут. Хотя однажды в одном из универмагов поняли.*

*– Ой, вы говорите по-русски? – удивилась девочка, поражаясь тому, какой я со-*

*всем не русский.*

*– Да, это мой любимый язык, – сказал я больше для ее мамы, чем для нее самой, – русский и еще французский, ma chere la fille, дорогая моя девочка...*

*... – Из шифона, – ответила жена.*

*«Конечно, из шифона! – звучало внутри меня, – ... из чего же еще», – но выйти, пробиться из меня не могло, застревало внутри, лишь глаза и улыбка выразили согласие. «Правда?! Я думал из крепдешина, но какое это имеет значение, когда оно из шифона. Крепдешин – прошлое, старье, правда?»*

*Мама моя когда-то давно, еще в моем детстве, подшивала платье из крепдешина у портнихи Тамары. Она примеряла платье в комнате, я ждал ее в саду портнихи. За оградой был детский дом. Сквозь частокол забора мелькала девочка в школьной форме, играющая в классики. Там, в детском доме, жил Гера, задиристый пацан. Мы с ним однажды прогуливали урок. Он дразнил меня:*

*– Влетит тебе от маменьки, маменькин сыночек.*

*У Геры мамы не было. У него вообще никого не было. Он жил на свете один, детдомовец.*

*В день, когда хоронили маму, я вдруг почему-то вспомнил Геру: «Влетит от маменьки!...»*

*«Ничего уже, Гера, мне не будет...»*

*... – Конечно, из шифона, дорогая! Я думал, что из крепдешина, но его, наверное, уже не производят! – вырвалось из меня.*

*Тогда я еще не знал, что женщина со стареющим лицом и молодым телом через несколько дней встретится мне ранним утром с пучком соломы в руках, предложит выпить с ней пива. Прямо так и заявит: «Айда, Фиби, пиво пить!» И через день все соединится воедино, в тщательно подобранную цепочку. Даже пучок соломы найдет объяснение, став отдельным звеном цепи.*

*...Солому пучком я никогда не видел. А тут вдруг увидел ее, вдетую в ручку входной двери дома, от которого начинался спуск по мощенной булыжником улице. Машины по ней проезжали шурша.*

*И у нас когда-то был мощенный булыжником участок, он тянулся от филармонии к морю, я помнил это шуршание, мне нравилось слушать его, когда друг отца целую неделю возил меня на своей новенькой «Волге»в глазную больницу. Я, закрыв глаза, слушал шуршание дороги, словно быструю речку в селении «Дашча» в Габале, куда отправил нас с мамой и братьями на отдых отец. Солома в селе имелась. Хранилась целыми стогами. Но не торчала пучком ни в одной калитке села.*

*– Смотри, – показал я жене, – солому к двери пристроили. – Что бы это значило?*

*У меня уже готово было объяснение: кто-то пришел в гости с букетом соломы, не застал дома, вложил солому в ручку двери. «Кто ходит с соломой по гостям, тот поступает мудро! И еще экономно. Хотя нет, непонятно, как... »*

*– Это рапс, – сказала жена. В растениях она знала толк. И пока пучок соломы на двери не превратился в пучок рапса, я решил его спасать. Солома все же колоритнее будет.*

*«Но пучок рапса, – решительно заявил я внутри себя, – побудет соломой. Я настаиваю, как открыватель пучка на двери. Ты не против? Солома понятнее, чем какой-то твой рапс».*

*Жена моя внутри меня не возражала...*

# 1

... День, когда лучше бы я ее и не встречал, начался, как и все – с увертюры «Доброго Дня». Она звучала во мне в сопровождении одной лишь фразы: «Добрый Дэ-э-эн»...

Я шел по Подебрадскому парку к площади перед замком короля Йиржи Подебрадского, люди, шедшие мне навстречу, здоровались. «Добрый день!» – говорили они по-чешски. И это совсем не то, что по-русски или на каком-то другом славянском языке. Там было более яркое пожелание добра, более мелодичное, оно звенящим «день» зависало в воздухе над аурой парка, постепенно поглощаясь им. Слушалось с упоением.

Вспоминался фильм из детства «Сказки венского леса», где Штраус мчится в карете с женщиной по лесному тракту, ветерок сдувает с плеч женщины легкий шелковый шарфик, он остается на ветке, птицы поют, навевая композитору мелодию «Венского вальса»: «Там, трам, трам па-па... » – и по мере того, как карета удаляется от шарфика, у композитора складывается мелодия. Я смотрел в детстве этот фильм по телевизору, музыки в щебетании птиц не слышал, больше был озабочен шарфом – изорвет его ветер в клочья.

Я шел быстрым шагом по парку, слушал звенящее «дэ-э-эн», пытался сложить мелодию утра. Подебрадского утра.

– Нет, Ридан, ты не Штраус! Ты другой! – говорил я, насмехаясь над собой.

*Риданом я называл себя в море, когда долгими днями оставался в бушующей стихии, предоставленный самому себе, развлекал себя беседами, словно рассказы писал. «Ридан» – это мое имя, «Надир», наоборот. И катер с похожим названием – «РЕДАН» – был у нас в управлении. Скоростной. Начальство на нем в море выходило. Но, бывало, и мы возвращались на «РЕДАН»е с вахты. Глядя, как «РЕДАН» красиво шел по волнам, я гордился, он был моим. Мы созвучны: РИДАН и РЕДАН. Да он почти моим именем назван! Правда, «Надир» переводилось, как «нечто редчайшее, уникальное, не имеющее аналогов». А Редан – это всего лишь нарост по кромке борта корабля для сдерживания брызг волн. И все же, пока я выходил в море, считал катер «РЕДАН» чуть ли не побратимом своим. Ридан был моей собственной изнанкой, значит, был ближе к моей душе. Сердце замирало, когда этот катер моего имени, с допустимой для меня грамматической ошибкой, шел на скорости прямо на посадочную площадку, резко сбросив скорость, разворачивался, лихо причаливал бортом.*

*Когда море «выплеснуло» меня на берег, распрощалось со мною – не молод был я уже для морской работы, – списали и «РЕДАН». На причале его не было. Я покидал остров по намытой дамбе и слева от острова, на мели, вдруг увидел «РЕДАН». На сером февральском морском ландшафте он выделялся блеклым голубоватым цветом. Посаженный на мель, он покачивался на волнах. На его редане, свесив ноги, сидели рыбаки. Мы с «РЕДАН»ом были списаны.*

«Да успокойся ты, господин Ридан-Надир, ну, не музыкант ты, нет слуха! Ты кто такой есть, что «чешскую» музыку хочешь писать? На него посмотри, мелодию «Доброго Дня» напишет он! Ее, наверное, уже написал Дворжак! У тебя нет слуха, ты вообще глух, дорогой».

*О Дворжаке Ридан впервые услышал еще юнцом от дяди своего, Махмуда, или, как его все звали, Миши.*

*На кассете звучали скрипки, кассету с кассетным магнитофон привезла тетя Ридана, Аделя, из Алжира, где она прожила несколько лет со своим мужем Салехом и сыном Фаиком.*

*– Ты не знаешь, кто это написал? – спросил Ридан у своего дяди. Ждал ответа: кого назовет дядя, тот для него и будет автором произведения. Ридан даже не чувствовал, как неуместен был его вопрос. Дядя молчал, сидел в дыму астматической папиросы, закрыв глаза. Задыхался, но приступ астмы проходил, откашлялся, ему было совсем не до музыки.*

*– Дворжак, кажется.*

*Для Ридана имя было свежим, не из обоймы привычных имен.*

*– Он чех, – дядя был лаконичен, приступ астмы опускался в глубину его легких.*

*И Ридан запомнил. Хороший композитор у чехов. С самой юности помнил, что был такой композитор – Дворжак. Вспомнил о нем, когда Махмуд умер. Он возвращался домой в поезде Москва–Баку. Умер в поезде. Приступ астмы, наверное, задыхался, или сердце не выдержало надрывного кашля. Говорили, кашлял долго. Отвлек бы кто из попутчиков, заговорил бы о чем-нибудь, о музыке, о Дворжаке, об автомобилях.*

*После скоропостижной смерти матери Ридан искренне полагал, что скоропостижную смерть можно заболтать, если заранее почувствовать ее. «Я бы всем своим скоропостижно скончавшимся близким безудержно задавал вопросы, – сказал себе Ридан. – Заставил бы думать о насущном, настроил бы организм на жизнь. Главное – знать, что говорить, и уметь заинтересовать».*

*В море, находясь в одиночестве, когда не с кем было поговорить, Ридан все задавал себе вопросы, и теперь думал – спасал себя.*

*Возможно, и тогда, когда Махмуд назвал Дворжака, Ридан своим необязательным вопросом запустил механизм жизни дяди на новый виток.*

*«Замкнутость на себе ведет к скоропостижной смерти!» – вывел Ридан свой постулат, оглядывая море. Штормило, ветер еще не стих. Значит, и завтра не будет смены, завтра откат, волны будут успокаиваться внизу, под водой. Предстоит еще два дня одиночества, не будет дома, жены, детей.*

Мне хотелось ответить также: «Добрый Дэ-э-эн», растянув мягко «н», но я боялся что-то нарушить в этой мелодии, пустить петуха. «Ты глух, нет у тебя слуха». Но слух у меня был, только внутренний, запрятанный в душу, выбраться, не исказившись, не мог. Не получалось у меня также мелодично, достойно ответить на пожелания «Доброго Дня», я лишь кивал в знак согласия: «Да, господа, – мысленно говорил я, – день и вправду обещает быть добрым!»

Я шел быстрым шагом, выгоняя из себя сахар, навстречу потоку, спешащему ранним утром на привокзальную площадь на поезда и автобусы, слушал пожелания доброго дня и специально подбирал свой маршрут так, чтобы попасть в гущу потока. Пожелания доброго дня относились именно ко мне, потому как я шел навстречу толпе, нас, шедших в этом направлении, было немного, желали доброго дня именно нам, попутчику ведь не всегда станут говорить: «Добрый Дэ-э-эн!»

Попутчик идет себе да и идет, чего его отвлекать пожеланиями.

Эта мелодия в исполнении подебрадчан являлась увертюрой к каждому дню, прожитому в Чехии, звучала во мне протяжным напевом, поднимала над самим собой и над толпой. «Увертюра», звучавшая во мне, стоила того, чтобы проснуться до рассвета. Она включала в себя и момент пробуждения, когда я, крадучись, дабы не будить жену, выходил из номера гостиницы. В этом месте звучание должно быть вкрадчивым, кротким, если, конечно, я сумею когда-нибудь его передать. Оно включало в себя и то, что я смотрел на электронные часы у входа в гостиницу. Ритм чуточку меняется, вздрагивает. Шесть утра! Успокаивается. «Утро красит нежным светом...» Также включало и то, что солнца еще не было, оно вот-вот появится из-за памятника Йиржи Подебрадскому, первому королю чехов. И через некоторое время будет освещать и памятник Томаша Масарика – первого президента Чехии. Я видел символику в том, что солнце поднималось за памятником первому королю Чехии. Не самых «высоких» кровей, по сути, простолюдин, волевой и храбрый, умеющий всех примирить, Йиржи, встав на престол, пообещал не передавать трон по наследству.

## 2

Женщину с пучком соломы я встретил недалеко от памятника. Солнце уже висело над памятником, и вся площадь, мощенная булыжником, светилась под его лучами.

Она стояла будто бы в раздумье: переходить ли площадь? Была молода телом и старовата лицом, тщательно скрытыми морщинами, явной печатью тревожащей ее старости. Молодость тела словно ретушировала, сглаживала старость ее лица.

Я прошел мимо, не понял, что меня вдруг остановило, заставило оглянуться: слово непонятное «Фиби» или яркий, лучистый взгляд ее старушечьих глаз, пролившийся явно откуда-то из моей молодости.

Оглянулся, узнал. Женщина с вокзала.

«Ба-хо, таныш сифятляр, знакомые лица», – подумал я на азербайджанский манер и несколько развязно. – «Добрый Дэ-э-эн» – чешскую мелодию внутри себя я не испортил.

Она остановила меня взглядом, словно набросив аркан, притянула. Мне казалось, что я ушел от нее достаточно далеко, повернулся – она рядом, всего лишь в двух шагах. Взгляд ее прожег и, тысячу раз взвесив меня, потух.

– Фиби, подсоби женщине туфельки снять!

Услышал только «Фиби», остальное само собой подразумевалось. Положив мне руку на плечо, оперлась, наклонилась, другой рукой стала снимать с себя туфли на высоком каблуке. Я слышал запах соломы в ее руке на моем плече. Просушенный, набравший солнца, он успел вобрать в себя и немного утренней сырости. И сейчас пучку соломы подошло бы немедленно, но ненадолго стать пучком рапса. Жена права – это рапс. Жена еще спит. Чего ей вставать спозаранку, это у меня сахар в крови, это мне бродить по городу. Ничего предосудительного я не совершаю. Бабе Яге подсобляю. Хотя после того, как она сняла обувь и стояла передо мной хрупкая, босая, ноготки ухожены, накрашены, я не был уверен, что она бабка и что Яга.

– Айда, Фиби, пиво пить!

«Пиво!» – пароль души юности моей был раскрыт. Конечно, пойдем, ради пива мы когда-то давным-давно готовы были даже поехать на зыхский пивоваренный завод, чтобы попить зеленоватого нефильтрованного пива. А сейчас, в Чехии, что, и

пива не попить? Особенно если оно «Козел». «Козел» нравился мне больше остальных сортов. Мне пересказывали рекламный ролик пива «Козел». Толстяк все пьет да пьет, и у козла рога отваливаются, он все хорошеет и хорошеет. Может, даже в девушку превращается, не помню, так ли в ролике, но я бы снял именно так. Но главное, что рога отпадают.

«Девушка-старушка» пошла босая через мощенную булыжником площадь, размахивая теперь уже рапсом в руках и туфлями на шпильках. В такой обувке по булыжнику не пройти. Я шел в паре шагов за ней, позволяя ей вести себя. Сверху на нас смотрел Йиржи Подебрадский на коне. Я подумал, что он за меня немножко беспокоится. Гость, как никак.

*Пиво ранним утром; «это было недавно... это было давно... » – лет сорок назад. Каким отвратительным, но все же живительным был глоток уже задохнувшегося пива ранним утром в общаге Литинститута, когда, проснувшись, шаришь взглядом по столу в поисках остатков чехословацкого пива «Шариш». Его вчера еще было навалом. Оглядываешь комнату. Курбан, сокурсник из Дагестана, спит, но он якобы спит, делает вид, а Гришка, наш с Курбаном друг, драматург и театральный актер, спит, этот точно спит. Вчера читал нам свою переработанную пьесу, пиво «Шариш» привез из ЦДЛ. Курбан лежит тяжело. Ему тоже хочется пива, но он терпит, оставляет нам с Гришкой. Такова его природа, заботится о других. И имя у него такое, Курбан – жертва. Готов жертвовать собою. Я знаю, ему жуть как хочется пива, потому выбираю недопитую бутылку, где пива поменьше. Я тоже не лишен благородных чувств. Лучшее оставляю друзьям. Сделал глоток, серое небо за окном и Останкинская башня возвращают в реальность, говорят о том, что мы в Москве, и только потом, что пьеса Гришке опять не удалась. Не надо Соне бросаться из окна. Начитался трагедий, Катерина, «Луч света в темном царстве». Нет темного царства, Григорий, есть жизнь. Чешское пиво утром! Да это же хорошо!*

*Оно было хорошо и на Волге, когда мы с моим другом детства Рамисом шли по ней на теплоходе «ИЛЬИЧ». «ИЛЬИЧ» шел за «ЛЕНИНЫМ». Так, наверное, было заложено решением в верхах. И во взгляде на Волгу сверху этому тандему не помешал бы еще и третий теплоход – «ВЛАДИМИР». Так красиво они и шли бы: «ЛЕНИН», «ВЛАДИМИР», «ИЛЬИЧ». Но теплохода «ВЛАДИМИР» в те годы не было. Был наш «ИЛЬИЧ», арендуемый для бакинцев бакинским турагентством, и «ЛЕНИН», тоже везший очень хороших людей. «ЛЕНИН» был больше нашего, трехпалубный белый красавец, на нем можно было купить все. Он шел впереди и первым приходил на стоянку, загружался товаром, а когда через пару часов туда пришвартовывался наш, на «ЛЕНИНЕ» уже можно было купить пиво. Я просыпался с лязгом швартовых, спешил за пивом. Утром чешское пиво? Только на «ЛЕНИНЕ»!*

*Я покупал пиво, и каждый раз вспоминал, как у меня началось с ним. Забрел на станцию на Разина, не сиделось, ушел с занятий в техникуме. Я тысячу раз проходил мимо этого пивного ларька, а тут вдруг остановился. Продавец смотрел на меня и улыбался, искуситель. Он чувствовал, что я сейчас захочу пива, что брожу бесцельно, не нахожу себе места. У*

*меня все время мысли, что мама умерла. Усики продавца тонкие, с проседью, не мой это человек, пива выпью, но сюда больше ни ногой.*

*– Пиво свежее?*

*– Свежее! Налить? Гвардейское или пионерское?*

*– А это как?*

*– Гвардейское – до краев!*

*– Гвардейское, только стакан.*

*– 11 копеек, – он понимающе улыбнулся, запрограммировал меня на пиво. Я ему больше был не интересен.*

*Пиво на круизном теплоходе «Ильич» всегда могло быть кстати. Особенно когда они с Рамисом, слегка небритые (бороду решили отпускать), выходили на палубу, разом все охватывая, – и палубу, и крутой зеленый берег в Куйбышеве, и скамейки на пристани. Где-то там должна находиться Элеонора Федоровна, соплячка, чтобы называть ее по отчеству, но она требовала. «Элеонора Федоровна я!»*

*«Ага, Элеонора с «ЛЕНИНА». Меня в таком случае прошу считать кинорежиссером. Я снял пару фильмов, правда, любительских, на восьмимиллиметровую пленку, но снял ведь».*

*Конечно, для кинорежиссеров мы с Рамисом тоже были сопляки, хоть и ходили с кинокамерой. Но в перспективе вполне могли ими быть, надо было только очень хотеть.*

*«Так что, Эллочка, все у нас с тобой в перспективе. Ты Федоровной станешь в перспективе, мы режиссерами, Рамис – театра, он играет в народном театре, я – кино... Сниму трактат о твоих пяточках. У нас пиво чешское, айда к нам в каюту, она в четвертом классе, на самом дне, в иллюминатор к нам Волга просится...»*

Если тебя еще тянет по утрам пивка попить, ты с перспективой!

Чего я за ней поплелся, мне ли утром пиво пить? Она шла по мостовой походкой легкою. Стопочки годами не натружены, походка легкая, пружинящая, пяточки узкие, как у Элеоноры Федоровны с круизного теплохода «ЛЕНИН» в Куйбышеве. Мне ль за ней идти, за этой «Ягой-Не Ягой».

Она обернулась вполоборота, бросила взгляд на меня, как пристегнула. Я пошел за ней живее, без колебаний. Догадался, куда она ведет меня. Не далее, как вчера, под вечер, мы заходили в этот бар с женой. Широченные, как в гараже, ворота позволяли бару соединиться с двором, тянувшемся до самой Эльбы. Во дворе стояли дубовые обшарпанные столы, оставшиеся, по всей видимости, еще со времен Подебрадского. Двор заканчивался обрывом, где внизу шуршала Эльба. Самой реки не было видно. О том, что Эльба была рядом, говорили мачты да капитанские рубки небольших суденышек, изредка проходящих вдоль бара. Мы пришли с женой сюда целенаправленно, красного пивка с икрой попить. Красным пивом нас заинтриговала супружеская пара из Израиля. «Ой, как там интересно, пиво красное с раками и икрой, молодежь, песни!»

Это был, скорее, трактир, чем бар. Молодежь действительно была, пиво на столы подавалось вместе с подставками «КОЗЕЛ». Что было беречь столы подставками под кружки, если они не новы? Подставки здесь были явно лишними. Впрочем, таковы, видимо, были требования бренда. Красным в бокалах оказался сладкий напиток. Так что красного пива мы не увидели.

Во всем баре и во дворе звучало непонятно откуда лившееся ро́ковое пение. «Па, пара, па, пара, парам па, парам па». Я именно так и слышал, и мелодию не улавливал. Зато сразу же почувствовал реку, когда левым бортом вдоль забора прошло большое судно. Эльба вспомнилась песней: «Кто вас на Эльбе обнимал...» Я обнял жену. «Я вас на Эльбе обнимал!» – ответил песне, невпопад для жены. «Качумаем отсюда, – предложил я жене на блатной вариант, карачухурское детство со мной не прощалось, – нет здесь красного пива. А икра – она и у нас есть». Лучшая ведь в мире икра наша, каспийская, если не сказать, что азербайджанская.

...Она выбрала столик во дворе, у входа в зал. Лихо забросила под стол туфли, схватила за шкирку таксу. «Фи-и-би!» Какая-то мелодичность в этом восклицании была, но в мою увертюру не вписывалась. Пучок соломы она положила на стол, при этом озорно стрельнула в меня взглядом.

«Чё те надобно, старче?» – я уже решил для себя, что все это мне не нравится и что-то менять в своем решении не хотелось. Вспомнилась наша с женой знакомая Наталья. Она в Подебрадах руководила экскурсионной фирмой.

«В Чехии еще можно встретить в лесах ведьм, неискорененных средневековьем! Ведьмы – они еще есть здесь!» Не думаю, что Наталья нас пугала, просто во всем исполняла свой профессиональный долг экскурсовода, рассказывала, что знает и чему верит.

«Нет, Наташа, великолепная ты наша, какие еще ведьмы. Не ведьма она, милая девушка-старушка. Лицо все милее и милее, только желтизну убрать». Я осмотрелся: там, дальше, ближе к реке, за столиком сидела женщина с девочкой-школьницей. «На Наташу очень похожа, блондинка. С дочерью, наверное».

... – Какое пиво? Темное, светлое? – официант молод и строен, с козлиной бородкой, вариация рекламы на тему пива «Козел». Голоса его не было слышно, и слова не произнес. Все и так было понятно.

– Светлое!

– Русский? – спросил молча официант, имея в виду, что советский. О, как я ему был неинтересен! Как он был брезглив!

– Можно и так сказать, азербайджанец, – промолчал я. Захочет, услышит. Я не могу сказать, что был охвачен буйством гнева, но какое-то противление поднималось во мне, когда сталкивался я со снобистским отношением к себе и ко всему тому, чем мы жили когда-то. Вспоминались уроки моего брата по каратэ. Я делал глубокий вдох, задерживал дыхание, медленно выпускал воздух, разгружался. – Да, вот что, сам козел! – Мне стало смешно, конечно, козел. И ничего не обзываюсь. Вырядился в козла, кто же ты тогда еще! Чяпиш (козленок), не-е, не козленок, козел ты и есть козел, озюда, екясиннян (к тому же натуральный). Я перешел на молчание на азербайджанском.

Женщина хотя и была увлечена собакой, но и меня не упускала из виду, периферическим взглядом посматривала на меня и на пучок соломы в центре стола.

«Что я здесь делаю? Какое пиво с утра? Ведь нет литинститутского похмелья и не будет уже никогда. Какой еще теплоход «ЛЕНИН»? Уходить надо, пока ты не стал ФИБИ... Испугался? Ну, старушка непонятная, ну, официант с бородкой, и что? Теперь пиво по утрам не пить?!»

*Такое общение то ли полуутробное с междометиями, то ли полителепатическое, у Ридана Вейсаги было дважды. С одним немым мужиком из Эстонии. Правда, давно это было, когда был еще молодым. Потом еще,*

но уже гораздо позже, когда Ридан сам был мужем, отцом семейства, – с соседским мальчишкой немым, но выучившимся понимать и объясняться...

...С глухонемым эстонцем, мужиком крестьянского вида, Ридан схлестнулся в пионерском лагере. Из-за девушки, старшей пионервожатой. Веисаге Ридану она нравилась, но только с наступлением темноты, когда «над лагерем ночь опускалась». Красивая по всем параметрам девушка, но в светлое время суток, как только из-за инжирных посадок дальних дачных садов поднималось солнце, Веисага напрочь забывал про старшую пионервожатую. Видеть ее не хотел, востроглазая, востроносая, коленки острые торчат.

Глухонемому эстонцу, верзиле, числившемуся в лагере то ли пионером, то ли садовником, ездившему на байке, она нравилась во все времена суток. Он мог издали часами смотреть на нее, как она ходила по территории лагеря, из отряда в отряд. К малышне, в отряд Веисаги, попеть песню «Октябрята смелые спросили напрямик» приходила охотнее всего. «В-ина, улыбнись! В-ина, улыбнись!» – кричали хором малыши Ридана Веисаги по просьбе Веисаги, и старшая пионервожатая, заливаясь смехом, спев с малышами песню, неохотно уходила.

– Мы пока еще не пионеры, – кричал ей вдогонку Веисага, – октябрята мы, старшие пионервожатые не наш уровень.

«Над лагерем ночь опустилась, лагерю спать пора. Всем, всем спокойной ночи, а мне приятного сна!» Зловеще звучала эта лагерная речёвка в самом деле в наступившей темноте. Настораживала. Старшая пионервожатая вместе с начальницей пионерлагеря стояли на трибуне на вечерней линейке. Эту лагерную речёвкуони придумали вместе. Получилось весьма впечатляюще. С этой лагерной мантры у Веисаги начинал побуждаться интерес. Он смотрел на старшую пионервожатую. «Ну, острый носик, и что!?» Только бы начальница...Э-ра С-вна,ведущий специалист интерната для глухонемых, умело руководила детьми. Не один год на летний период устраивалась начальником в пионерский лагерь «Ласточка», где обильный песок был очень полезен для ее больных ног. И эстонца, которого обучала понимать и говорить, взяла с собою на лето. Что бедолаге было тратиться на дорогу, уезжать? Проведет лето в лагере, зато к зиме станет говорить. Если бы она с самого начала знала, как не понравился Эстонцу Веисага, она не стала бы рисковать, брать Ридана на работу.

«Над лагерем ночь опустилась... – кричала в рупор старшая пионервожатая, как запевала, лагерь подхватывал, – лагерю спать пора...» Мантра действовала. Ридан все больше и больше проникался тягой к товарищ В-ине. Старшей пионервожатой он ее уже не считал. Он терпеливо ждал, когда лагерь уляжется спать, они пойдут со старшой кататься на качелях. Потом он, подняв старшую на руки, побежит с ней по песку в футбольные ворота лагерного стадиона. Забежит с нею в ворота, закричит ей в самое ухо шепотом «Гол!»

Они будут лежать на песке, сверху, через сетку футбольных ворот, над ними будет высокое звездное небо в клеточку. В Мардакане небо всегда с огромными звездами. Потом украдкой, по очереди, пойдут обмыться в

крохотную душевую кабинку. И от избытка чувств Ридану захочется затащить ее в Красный уголок и сыграть на пианино «К Элизе» Бетховена. Веисага Ридан знал, на какие клавиши надо нажимать, выучил с помощью друга детства... Ридан заучивал «К Элизе» для своей будущей жены. До тридцати пяти лет он успеет выучить. Поспорили однажды от дурости с другом на три бутылки коньяка, что не женятся до тридцати пяти лет. И это превратилось в заклятие. Оба обзавелись семьями только после тридцати пяти. Эти годы до женитьбы словно были ему даны, чтобы разучить «К Элизе» Бетховена. Не имея слуха, почти Бетховен в старости, это было трудно, но он знал, что обязательно разучит, сыграет для будущей жены. Он уже закончил техникум, для отца успеет закончить политехнический институт, чтобы была специальность, съездит в Ленинград, поступать на философский, чтобы вместе с другом Генкой заняться научным коммунизмом, и с легкостью оставит эту блажь. Не по нему окажутся догмы коммунистические, и только потом поступит по душе – в Литературный институт. Правда, специальности, как таковой, не получит. Но он еще сыграет вместо Мендельсона Бетховена.

– Пойдем-ка, старшая, сыграю тебе «К Элизе» Бетховена, – Ридан слышал, как она, отряхнув с одежды оставшийся песок, в темноте влезала в нее.

...Эстонец прибежал в Красный уголок, когда Ридан, сидя за пианино, обнимал старшую пионервожатую. «Вот когда мы с графиней... на рояле, вот это было недурственно!» Эта пошлая присказка громыхала звуками расстроенного пианино. Эстонец смел их, навис над клавишами. Глухой собирался играть!

...Непонятно, какая мелодия звучала в его глухой башке, но он так отчаянно барабанил по клавишам, что вполне можно было услышать что-то ультрасовременное. Он выводил в эту музыку всю свою глухоту, свою сиюминутную любовь, тоску по дому, все свое, что должно было быть понятно и Ридану, и выбравшей из двоих Ридана старшей пионервожатой.

Ридан не мог, чтобы последнее слово оставалось не за ним, похлопал по плечу верзилу – мол, отойди! Несколько первых нот были снова «К Элизе», потом тоже стал барабанить по клавишам. Ему, хорошо слышащему, но музыкально глухому, чувств своих выразить не удавалось. Только грохот стоял. Глухонемой эстонец был выразительнее, и это уничтожало Ридана. «Нужно уметь чувствовать, а не бравировать заученным Бетховеном», – подумал он. На старшую вожатую не смотрел, только искоса поглядывал на эстонца.

«Над лагерем ночь опустилась, лагерю спать пора... » Это так зловеще может зазвучать. «Ночь опустилась!» Э-ра С-на и Пашко, самый смышленый второклассник из отряда Ридана, стояли в проеме двери. Веисага перевел взгляд на старшую, она стояла вся красная.

«В-ина, улыбнись, улыбнись, В-ина, – говорил про себя Веисага, – я все возьму на себя. Мы ведь только музыку слушали, ты тут ни при чем. Нет ничего криминального. На пианино нет даже твоих отпечатков. Криминала не было. Ты только слегка присела на клавиши. Ну, в общем, это

я сам пришел, Э-ра С-на, я виноват, Э-ра С-на!. .»

– Пашко, ты почему не спишь? Пошел, живо, спать, – Ридан брал инициативу в свои руки. Его лучший воспитанник, вундеркинд Пашко, уже во втором классе прочитавший «Тихий Дон» Шолохова, еще днем предупреждал Веисагу: «Тебя, товарищ Надир, скоро побьют!»

– Ты что, дружище Пашко? На детективы перешел? За что меня бить?

«Я видел, как он на тебя сегодня смотрел. Будь осторожен, товарищ Надир. Мы ведь каждый день кричим: «Любимый товарищ Надир, будьте здоровы!», когда вы по утрам чихаете... »

Ридан и вправду по утрам чихал, словно избавлялся от наносного ночного. Отряд дружно желал ему здоровья. «Будьте здоровы, товарищ Надир!» Слово любимый Ридан добавлял от себя. Дети слышали и повторяли.

– Чудак ты, Пашко, но я тебя понял.

Пашко привел Э-ру С-ну, чтобы меня не придушил в приступе ревности глухонемой Отелло. Он, гад, следил за мной.

– Это что такое?. . – сиплый голос начальницы звучал выразительнее всяких нот...

Эстонец что-то объяснял на пальцах...

– Чтобы завтра тебя в лагере не было. Отцу твоему все расскажу.

Э-ра С-на знала Ридана хорошо, он еще пионером приезжал в лагерь. И отца его знала.

– Что случилось, Э-ра С-на? Поиграли на пианино немного.

– Я все знаю!. . Завтра отправляйся домой, считай, что смену отработал, зарплату получишь.

...Солнце поднималось над инжирными кустарниками. Ридан собирал свои вещи. Его малышовый отряд, его малыши, с которыми он был так дружен, стояли, окружив его. Культ личности Веисаги в отряде был высок. «Ты женишься на нас, товарищ Надир?» – спросили как-то у Ридана девочки его малышовой группы.

– Обязательно, вот закончу два института, – отвечал Ридан им мысленно, – вызубрю «К Элизе» Бетховена и обязательно на ком-нибудь женюсь. Вы как раз и есть мой контингент. Жена у меня будет обязательно лет на десять моложе.

– Товарищ Надир, вы просто приезжайте к нам в родительский день!. .

«Улыбнись, Пашко! Заложил меня!. .»

«Он бы тебя убил!» – говорил твердый взгляд малыша.

«Ну да, конечно, куда мне сладить с горячим эстонским мужиком! Ну и пусть, мне давно следовало по мордам получить. Слишком праздно живу. Хотя нет, нос у меня слабый, двинут разок, кровью изойду. Спасибо, Пашко, спасибо, брат, я и так тебя никогда не забуду».

Мысли Ридана прервал рев мотоцикла. Эстонец верхом на байке стоял перед палатой малышового отряда.

Веисага вышел из палаты.

– Чего?

– Садись, – жестом приказал глухонемой.

– Зачем?

– Отвезу тебя, – сказал в голос глухонемой, плоды трудов Э-ры С-ны были обнародованы. Только голос был у него какой-то жалкий, жидкий, он словно бы выдыхал слова. Поэтому, наверное, он все больше молчал, не разговаривал, стеснялся.

«Ему нельзя нервничать, а с тобою он нервничает, злится». Накануне всему воспитательскому коллективу Э-ра С-на говорила: «Уступайте ему, он начинает уже говорить, иначе выздоровление может прекратиться».

– Э-ра С-на попросила подвезти меня до остановки? – спросил я нарочитым басом.

Эстонец согласно, как более мудрый, опустил веки. Ридану хотелось сказать: подожди, мне надо попрощаться со старшей пионервожатой. Передумал. Разнервничается, бык эстонский, дар речи, которого нет, потеряет.

– Ну что, ребята, прощайте! Видите, меня подвезут. Не беспокойтесь. Я вас буду помнить, – пообещал Ридан, и он действительно помнил, особенно Пашко, на которого страшно злился, когда тот среди ночи будил его, чтобы спросить о чем-либо космическом. Он был дитем, мечтавшим стать космонавтом. Может, и стал им, Веисага как-то уже перестал следить за полетами в космос...

...В лагере Ридан оказался только уже в следующую лагерную смену. Приехал к Э-ре С-не вместе с добрым в те годы соседом. Беда у соседей была. Младший сын не разговаривал. Ридан знал, что Э-ра С-на не откажет, поможет. Пристроит пацана у себя в интернате. А там он уж и говорить научится. Соседи в те годы все были добрыми. Да и дядя этого мальчишки был другом и одноклассником Ридана.

...Лагерь изменился, чего-то уже не хватало, даже солнце было не столь ярко. Старшую пионервожатую он наблюдал издали, шла к дальней беседке малышовой группы. Так захотелось побежать через весь лагерь к старшей, поднять и закружить. «В-ина, улыбнись, ты так хороша! Жаль, что я такой дурак!» Ридан сдерживался, бедолага эстонец мог быть где-то рядом. Нервничать начнет, пищать нечленораздельное. Нельзя, надо соседа спасать. Ридан знал, как трогательно любил детей своих отец несчастного пацана. Мы много раз ставили на проигрыватель гибкую пластинку с приветствием отца детям.

«Дети мои, – шло перечисление по именам, – папа сейчас отдыхает в Кисловодску и посылает вам вашу любимую песню «Позвони скорей!»

Любящий отец тогда еще не знал, что его младший сын, имя которого с чьей-то легкой руки перевелось как Сокол, не слышит всеми любимую в те годы песню.

– Э-ра С-на, вы Соколику поможете?

... – А где Пашко, Э-ра С-на?

– Пашко родители забрали сразу после тебя. Он не хотел здесь оставаться.

– Конечно, кого ему было пытать вопросами?. .

...К своим двенадцати годам Соколик стал говорить. Ридан не считал, что была у него в этом какая-то роль. Свел с нужным человеком, что тут особенного, и все же ощущение некой причастности к свершившемуся чуду у него оставалось.

– Как дела? – спрашивал Ридан у Соколика.

– Хорошо! – выдыхал Сокол ответ.

Много позже, когда Ридан уже был женат, у него уже был первенец, он приехал к отцу повидаться, отойти душою. Побить, наконец, мячом по воротам, отдаться любимой с детства забаве. Бил с разных позиций по нарисованным воротам на стене. Ридан хотел быть в форме, детская мечта все еще была жива.

Когда отец впервые взял Ридана на стадион на игру «Нефтяника», он все хотел, чтобы по стадиону объявили: футбольной команде «Нефтяник» срочно требуется умеющий забивать. Тут он поднимется со своего места, побежит на поле к своим кумирам.

– Я даже гол Пушкаша смогу забить!

Ведь может же случиться такое, что когда-то просто с трибуны пригласят в команду.

Ридан бил по мячу, вспоминая себя в детстве, когда к нему подошел старший брат Соколика, сообщил, что Сокол хочет что-то сказать, но не решается.

Соколик стоял поодаль, опустив голову, смотрел на свои огромные ступни в тяжелых ботинках на толстой подошве.

Ридан вспомнил пиршество на всю округу, которое было устроено в день возвращения Сокола из интерната для глухонемых. Сокол мог говорить! Разобрать можно было с трудом, но он говорил. Застолье пело свои пьяные песни, требовало от Соколика показать, что он слышит, хлопало. «Танцуй, Сокол, танцуй!» Соколик в такт хлопкам, сначала тихо, еле заметно, как бы заводясь, расставляя все шире и шире свои не по годам огромные ступни в тяжелых ботинках, начинал притоптывать. Возможно, для мальчишки пританцовывать под застольное не совсем правильно, но Сокол был послушным мальчиком: «Танцуем, Сокол, танцуем...», и Сокол топал, попадая в такт хлопкам застолья.

Радость была большой, Сокол слышал!

... – Соколик, слушаю тебя. Что ты мне хотел сказать?

Сокол уже был крепким мускулистым юношей, молча смотрел в глаза, отяжелевший его подбородок выступал вперед. Он все тянул вперед подбородок, как бы буксовал, заикался, не мог начать говорить.

– Стань-ка в ворота, я тебе побью.

Сокол стоял в воротах безучастно. Ридан бил – он не реагировал, он не был из поколения футболистов, футбол в их дворе играли в риданов детстве.

– Война будет! – выдохнул Сокол утробой.

...– Какая война, Сокол? Когда?

Соколик яростно молчал: «Не знаю!»

**До войны оставалось еще более двух лет!**

*– Кто будет воевать?!*

*– Армения и Азербайджан, – напором вырвалось из нутра юноши.*

*– Соколик, ты что?!*

*Сокол стоял, опустив голову, будто был виноват.*

*– Нет, Соколик, войны не может быть, понимаешь, не может. Мы ведь живем в едином государстве. Будь спокоен, не будет никакой войны. Не допустят! Над тобой пошутили. Какой-то дурак пошутил! – Ридан что есть силы ударил по мячу, мяч, отскочив от стены, улетел в сад к соседям.*

**Кто летом 1986 года мог поверить, что Армения затеет войну с Азербайджаном. И я не мог поверить.**

*Соколик шел домой, шажками медленными, будто тянул время, собирался возразить, но не знал, как убедить. Носки своих больших ступней ставил вовнутрь, не раскидывал вольготно. Не было уже той разухабистой свободы, когда вся округа хлопала, он танцевал. Ничего праздного, лишь тревога. Он знал, что будет война.*

*Только на втором десятке лет войны Ридан вдруг вспомнил о предупреждении Соколика. Соколик пытался предупредить, кому он мог еще открыться, как не ему, Ридану. Может быть, даже надеялся, что, работая в редакции, он мог что-то предпринять.*

*«Нет, Соколик, ты ошибаешься, войны не может быть!»*

*Каждый раз, когда он вспоминал Соколика, у Ридана становилось неуютно на душе, он ощущал в себе вину, она, как нечто осязаемое, которое можно даже потрогать, сковывала его, делала беспомощным. «Войны не будет!» Так, ты не поверил, но хотя бы задуматься мог! Ведь Сокол был в здравом уме, он плохо слышал, но с головой у него был полный порядок. Потом Ридан вдруг понял: нечего себя винить, война эта была позволена высшим руководством. Это был эксперимент. Были в прежней стране баловни, которым просто разрешили пошалить. Давайте, попробуйте...*

*Винить себя можно было лишь в том, что не спросил у Соколика, когда и чем закончится война, что и о себе не расспросил...*

## 3

...Такого еще не бывало, чтобы мне настолько не хотелось пива. Я даже не мог заставить себя притронуться к бокалу. Мой оставшийся дома брелок для ключей в виде крохотной пивной кружки с пенившейся в ней жидкостью, возможно, сейчас обиделся бы на меня, затерялся бы, да так, чтобы его долго пришлось искать. «Не пьешь, что же ты тогда носишь уже второй десяток лет символику пивную? Тоже мне, пивник нашелся». Брелок мне был подарен сыном, но я чувствовал, что вспоминать сейчас о сыне, о дочери, жене, близких – нельзя. Девушка-старушка сидит, все улавливает, может просканировать меня всего, и тоже пиво не пьет, исподлобья наблюдает, теребит в руке солому, лишь только учует живую во мне мысль, все круша, ринется продираться к моей светлой душе. «Бойся думать о близких своих, когда рядом кто-то чужой». Постулат родился сам по себе.

Какой-то настойчивый голос изнутри, может быть, мамин, шептал: «Не пей, не пей!» Маминого голоса я уже не помнил, забыл. Он по нескольку раз за день и не

один десяток лет слышался мне в гуле уличных голосов, и вдруг исчез, пропал, забылся. «Согласен, не стану пить!»

Утро, набрав силу инерции, уже переставало быть ранним. За обвитой кустарником оградой трактира «Увертюра Доброго Дня»отзвучала. Подебрадчане, кому надо было с утра на работу, уехали. Теперь и самому дню, как было и заложено с утра, предстояло стать Добрым. Он будет Добрым, будет Добрым и для меня, раз я в нем нахожусь.

Пиво на обшарпанном столе на подставке с брендом пива «Козел» все еще пенилось густой пеной. Все его попытки соблазнить были тщетны. Горький соленый привкус во рту настораживал. Появившись вдруг, он тягучей, тонкой, соленой струйкой шел горлом. Откашляться я не решался, смотрел на Ягу, будто участи ждал. Она молчала, перебирала стебельки соломы, может, пересчитывала или гадала, как на ромашке: «Полюблю – не полюблю, отравлю, убью, съем, полезай в котел!»

– А я видел вас, мадам, несколько дней назад на вокзале.

Не знаю, произнес ли я эти слова вслух, но вдруг опять откуда-то из моего давнего прошлого каким-то блеском озорства и обеспокоенности сверкнул взгляд девушки-старушки.

– Ты меня видел и раньше, Фиби.

Это надо было уметь – выпить с изяществом залпом почти весь бокал пива. У девушки-старушки получилось, она пила красиво, лишь в конце, прежде чем положить на стол чуточку недопитый бокал, исподлобья, уголком усталых глаз посмотрела на меня. Что, интересно, я делаю, как себя веду?

А я и не знал, что делать, как вести себя. Соленая тягучая слюна медленно, постепенно копилась во рту. И освободиться от нее я не решался, пытался незаметно втянуть слюну назад в себя.

*Подпочвенные соленые воды, вытекающие из бетонного остова старой нефтяной скважины у берега моря, недалеко от дамбы на остров «Песчаный», образовали целое соленое озерцо. Неизвестно, кто первый в него полез, по данным Ридана это были его друзья детства – Рамис и Виктор. Они первыми рассказали Ридану об озере. Потом как паломничество какое-то началось. Особенно в летнее время, в пляжный сезон.*

*Ридану приходилось не раз, возвращаясь с острова, сокращая путь к трассе, проходить мимо озерца. «Печь блины» на озерце можно было изумительные, камень долетал до середины, затем, потеряв силу инерции, остановившись, несколько мгновений был на плаву и только потом медленно погружался в воду. В это озеро не полезу, решил для себя Ридан, и когда в литинституте одна студентка с Сахалина сказала ему: «У вас такое чудо, соленое озеро!», Ридан не стал ее разубеждать, говорить, что подпочвенные воды вполне могут быть радиоактивными. Подумал: с чего это он вдруг решил, что вода в озере из скважины, озеро могла выдавить из себя и земля. Не было его, потом вдруг появилось. Небольшое, в длину метров сто, берега с соляной белизной…*

Слюна казалась мне невыносимо соленой.

Допив остатки пива, теперь уже без всякого изящества, как-то по-мужски вытерев губы тыльной стороной ладони, женщина кивком показала мне, чтобы я пил пиво. Кивок ее в сторону моего бокала был весьма красноречив: «Давай, мол, пей, чё сидишь, кого ждешь!»

Мне тоже захотелось посмотреть на нее как-то властно. Был у меня в запасе брутальный взгляд. Взглядами своими многозначительными я не разбрасывался. Я нашел его в себе, когда стоял перед секретарем парткома кузовного цеха автомобильного завода, выпускающего автомобили «Москвич», Даздрапермой Ильиничной – женщиной-колоссом, но на объемных, крепких ногах. Она как-то с особым удовольствием, с упоением бранила меня, по ее мнению, люто провинившегося, потом вдруг, наткнувшись на мой взгляд, осеклась, обмякла, подобрела, как-то даже похорошела. «Ладно, сынок, иди, не порть больше автомобили, скажи, пусть запускают конвейер!» Сыном я ей, конечно, быть никак не мог, разве что младшим братом, последним, поздним ребенком в семье, когда ее родители решили родить себе на старость забаву – младенца. Это она так, проявляя партийную озабоченность к моей судьбе, назвала меня «сыном».

... Девушке-старушке с соломой я тоже мог быть братом. Младшим. Уставился на нее взглядом: «Да здравствует первое Мая!»

– Это вам, – сказала, наверное, она, протягивая мне пучок соломы. – Там корень магический, удачу и счастье приносит.

Расправившись с моей «Даздрапермой», она смотрела на меня цепким взглядом, взвесила, все про меня прочувствовала и вдруг сдалась, плоть лица проявилась тонкой сетью морщин, обтянутой желтой пленкой кожи, на щеках стал проявляться румянец; зарделась мадам, как манерная невеста. Румянец над сетью морщин, нечто нелогичное, путал мне все.

– Только молодости себе не проси! – было сказано по-русски, четко. – С собою корень не увози. Здесь оставишь!

«Теперь можно и уходить», – подумала, верно, она, как-то сразу засуетилась, достала из-под стола туфли. Шла, босая, по траве, походкой четкой, упругой, выпрямляя ноги в коленях. Туфли держала в руке. Такса бежала впереди, обнюхивая траву, как поводырь, путь прокладывала.

Женщина не просто уходила. Это был уход, она хотела, чтобы ее запомнили.

– Манерная! – я смотрел на ее шествие через незаполненные края пивной кружки. – Выделывается! Идешь себе, иди. – Хотя понимал: это образ, она живет им. Походку, как маску, примерила, решила, что подходит, что такой и следует ей быть. Мадам Х! Всегда быть в маске – ее удел!

*...Из всех тридцати метров пленки годными оказались только метра три. На них была мама. Ридан всегда помнил об этих метрах любительской кинопленки, на которой его мама шла по проулку. Больше он ее снять не успел, не удосужился. Чтобы эти три метра пленки с мамой не затерялись в неразберихе его киношного «архива», Ридан приклеил их к одному из своих любительских фильмов, где его друзья изображали из себя шпионов. Мама шла после эпизода с переходом границы, где были пограничные столбы с надписями «СССР» и «США». В фильмем, снятом Риданом на киностудии, названной им иронично на американский манер: «20 fox на исходе», он позволил себе такую границу. В каком-то смысле это было символично, намеком, который друзья его так и не прочувствовали: что СССР и США – всегда антагонисты, противостоят, значит, есть и граница... Проводник через границу, его друг Генка, нес на себе через нейтральную полосу шпиона. И сразу же за Генкой, когда шпион прикончит Генку, бросив в него нож, шли кадры с мамой, которые Ридан никому не*

показывал. Немного шагов она успевала сделать в этих трех метрах, потом махала Ридану рукой, заметив, что ее снимают, спешила дальше, исчезала в перспективе проулка. Каждый раз, прокручивая фильм, Ридан выключал лампу в проекторе, мама шла на экране в темноте. Ни отец, ни братья, никакие родственники никогда не видели этих нескольких шагов его матери. Не стоило бередить души отца, братьев. К самому себе же всегда возникал вопрос: почему так мало снял ее? Объяснение, что снял, но пленка оказалась бракованной, с годами становилось все менее убедительным. Ридан навсегда запомнил, как сложились эти несколько кадров с мамой. Снимал скрытно, увидев ее, идущую к проулку, ведущему к дому.

Вообще все, что было в этот, последний период жизни мамы, Ридан помнил.

Мама попросила дать ей что-либо почитать.

Ридан принес матери номер журнала «Новый мир» с романом Вадима Кожевникова «Щит и Меч». И роман Вадима Кожевникова стал последним, что прочитала его мама. Потом, через пару лет после смерти ее, когда был снят фильм «Щит и Меч», и он увидел, как в фильме радистка, красавица Валентина Титова, идет точно такой же походкой, как его мать по проулку в кадрах, снятых им, он стал для Ридана вовсе мистическим. Они шли одинаково. Так могут идти женщины, которые знают, что они очень нужны. Мама спешила по проулку – домой, к семье, Валентина Титова – к передатчику. В Ридане соединились две абсолютно разные женщины, снятые в абсолютно разных фильмах, один из которых никто, кроме него, не видел.

Ридан сделал для себя открытие: походка женщины может о многом говорить. Очень важно, как женщина идет, передвигается в пространстве. Уже лишь по одной походке он мог просканировать женщину, пропустить через МРТ в себе. Так и родился в нем трактат с псевдонаучным и полным иронией к себе названием: «Трактат о передвижении женщины в пространстве... » Он был записан на обратной стороне картограмм к самопищущим приборам. Тогда Ридан, студент-очник дневного отделения политехнического института, работал по ночам вахтенным методом в НГДУ. Мысли свои записывал на использованных картограммах. Прятал в одном из приборов газоанализатора, там же и находилось его собственное открытие, совпавшее с постулатом буддизма: «Не иметь желаний!» И он старался следовать постулату, убивая в себе желания.

... Ёшка была у торцевой калитки сада трактира, ведущей к Эльбе, когда я разворошил солому. Какой-то холодок прошел по всему телу. Огромная псина, спящая у боковой калитки трактира, вдруг подняла голову, не понимая, что потревожило ее сон, грозно зарычав, оглядываясь, закатилась лаем. Не обнаружив ничего подозрительного, успокоилась, опустила голову на передние лапы. И такса также вдруг засуетилась, закружилась беспокойно вокруг девушки-старушки. Я держал в руках нечто в виде небольшой человеческой фигурки темно-коричневого цвета: голова, туловище, руки, ноги.

... – Соколик! – похолодел всем телом. Корень в виде крохотной человеческой фигурки был поразительно похож на Сокола. Челюсть вытянутая, массивная, только ступней не было.

Я огляделся, сад трактира оказался пуст. Не было и светловолосой молодой женщины с девочкой-подростком, которую я видел давеча, не без удовольствия принял за нашу с женой знакомую – экскурсовода. Увидел лишь официанта, дремлющего на низенькой скамейке у ворот в трактир, вытянув вперед ноги, и параллельно им, если продолжить линию, свою козлиную бородку. Я мысленно продолжил эту линию, с удовольствием отметив, что прав.

«Девушка-старушка», «Женщина», «Яга», просто «Ведьма» открыла калитку, скорее всего, намеревалась спуститься к Эльбе. Музыка в трактире, словно успокоившись, звучала тише, хотя и пел тенорок все то же, что и вчера вечером. «Па-пара -пара-рарара-пара... » Закрывая калитку, женщина обернулась, осматривая сад трактира. Взгляд ее, прошивая пространство, петляя между стволами деревьев, ветвей и листьев, завис, остановившись на мне. Она вся была передо мной, демонстрируя напоследок всю себя: от босых ступней... Странно, но издали вдруг четче стали видны морщины на лице женщины. Как зарубы каждому прожитому году. Такса у ее ног также смотрела на меня, злилась в оскале.

Попал я сегодня с увертюрой своей. Отзвучала она... Скоро начнется основная тема. Не может это просто так кончиться. Валить надо, чего ждешь, качумаем, товарищ Надир...

Я стал смотреть на нее через стекло пивного бокала, как через увеличительное стекло. Она слилась в сплошное мутное пятно.

*... В свой первый приезд в Подебрады Ридан обратил внимание на трех женщин, издали шедших по тенистой аллее при церкви. Шутя и балагуря, Ридан задал себе вопрос, какая из них ему бы больше всего понравилась? Стал яростно выбирать. Женщины прошли мимо, оказались старушками. Тут же, забавляясь, он принялся придумывать стихи. Назвал по Бунину: «Темные аллеи».*

*Три грации на тенистой аллее. Вот это вот женщины, вот это вот поступь! Мне правую, что ли, может, левую? Нет в середине! Нет, и правую, и левую, и в середине! А грации шли, постепенно старели, но поступь все та же. Пра-вую? Ле-вую? В середине! Грации шли, с каждым шагом старели. Но поступь все та же. И мимо меня уже шли три старушки. В стильных одеждах легко свою старость несли. Я им вслед посмотрел, потом отвернулся, оставив для тех, впереди, для которых они еще молоды...*

... Это она была в середине. Та самая – «Нет! В середине!»

«Вот как аукнулись «стишки!» «Ты звал меня, поэт?.. Выбирал, я пришла! Ты хотел молодую. Я сделала все, что смогла!»

Ужас, охвативший меня, сковал все нутро. Со мной такое бывает, впервые случилось на похоронах скоропостижно скончавшегося сокурсника по техникуму. Гроб опускали в могилу, все нутро мое сжалось в комок, я не мог стоять на ногах, не мог найти себе места, скорчившись, присев на корточки, просил пощады. И сейчас все нутро было сковано. Но я уже научился пережидать. Ужас отпустит.

«Чего тебе приспичило стишки писать? Не дано ведь!»

«Как по Мериме в «Венере Ильской» получилось», – подумал я. В рассказе Мериме нерадивый шутник (футболист к тому же) перед свадьбой обручальное кольцо, которое должен был надеть на палец своей невесте, надел на палец найденной в раскопках античной бронзовой женской статуи, побежал играть в футбол, спасать честь своего двора. Очень уж его просили друзья подсобить им в игре. После футбола снять кольцо с пальца статуи не сумел, статуя сжала ладонь в кулак.

В ночь перед свадьбой статуя явилась к нему на брачное ложе. Легла, раздавила шутника-балагура.

«Да я ничего не хотел. Неужто так страстно выбирал, что запомнился? Шутка была. Ступай себе с Богом, женщина!»

… – Молодости себе у корня не проси, лицу может не достаться. – Голоса женщины я не слышал, но предупреждения ее как нечто осязаемое впитывались в меня.

– Ладно, Фиби, не буду. Да мне и не надо, чего мне молодиться! Скажи, что за деревяшку ты мне оставила, на Соколика похожа!

– Корень береги, магический. С ним ты будешь видеть и слышать все таким, каким хочешь видеть и слышать. Лучше в соломе хранить. Под солнцем не держи. И зла на меня тоже не держи!

«Что это такое, – говорил я себе. – Откуда я все это слышу? Гипноз, что ли, всеподебрадский устроили. Может, НАТО проводит эксперимент, зомбирует туристов из бывшего СССР?».

«Не нужно мне никакой магии!».

Бокал с пивом еще не успел упасть, едва качнулся, как официант на всех парах летел ко мне. Не успел. Бокал, потеряв равновесие, покатился, заливая пивом стол, солому, упал на траву, не разбился.

Укор официанта был суров. Острие бороды на презрительно выдвинутом подбородке целилось мне в переносицу.

– Да ладно тебе изгаляться, чапишек. Мы, советские, в долгу не остаемся. Платим за все. Скажи-ка мне лучше... Нет, не так. Garson, dis-moitesouviens-tu, словом, «Венеру Ильскую» Мериме помнишь? Не помнишь! Да ты, гарсон, и не читал, наверное. А меня вот ситуация – может раздавить! Поубавь пыл, ну, пиво разлилось, бывает. Бокалы у тебя неустойчивые какие-то. Ты вот что, Garson, donne moi silvousplei tune centtainsde grammesde «Slivovitz». И не думай о нас, русских, или бывших русских свысока.

Наверное, что-то во мне менялось, когда я переходил думать на свой скудный французский. Я это неоднократно проверял, неизменно чувствовал расположение к себе собеседника. Что-то благородное, бекское появлялось во мне. Вновь врастал в корни предков, о которых ничего не знал, кроме того, что дед мой, закончивший Горийскую гимназию и по непроверенным данным Петербургский университет, был убиенным лет за двадцать до моего появления на свет тем, кто должен был его сопровождать и охранять в командировке.

Бородка у гарсона как-то успокоилась, да и ему лестно стало, что клиент оттуда-то знает про чешскую «Сливовицу». Напиток, действительно, знатный: согревает, светлые думы навеивает.

Хотя пить одному не по мне. И не было такого, чтобы сел, сказал себе, не выпить ли, как думаешь, товарищ Надир? Но сейчас вдруг захотелось. И не один я был, со мною Сокол. Я пил в одиночестве, но как бы с магией и как бы на брудершафт.

... – Ну что, Сокол-Соколик, корень магический, скажи-ка, когда войну, которую начал, кончать будешь? – спросил я молча у корня, дотронувшись рюмкой до челюсти Соколика.

Крепкая, зараза. Выпил разом, поморщился, скорее отдавая дань привычке, чем ощутив что-то неприятное.

– Ну, Соколик, скажи, когда война кончится? Дай ответ!.. Не даешь ответа! Нет магии! Может, и вправду волшебный, удачу и счастье принесешь?

– Гарсон, пардоне муа, репете, еще дринг сливовицы!.. – с официантом можно было молчать на любом языке, он понимал. – Эх, Соколик, Соколик, чего я у тебя о войне раньше не спросил. Сейчас что с деревяшки возьмешь?

## 4

...Я возвращался в гостиницу столь же быстрым шагом, но уже просто спешил, не думал, что убиваю сахар в крови. Парк был заполнен курортниками, пожелания «Доброго Дня» уже отзвучали. Во внутреннем кармане куртки Соколик отзывался в груди необъяснимым холодком. Тонкие ворсинки корня, пробив подкладку куртки и футболку, щекотали грудь.

**«Война будет!»**

Какая война, у меня только родился сын, чуть более сорока дней назад. Война казалась абсурдом, еще через два года родится дочь, и война все еще будет казаться невозможна. Еще через пять лет не станет отца, и уже около трех лет, как начнутся военные события. Смерть отца мы косвенно свяжем с войной. Потом не станет и Махмуда, других моих близких, моих дядьев и теть.

– Сокол, какая война, – снова говорил я Соколику, вернувшись в солнечный день 1986. – Ты ошибаешься, кто тебе сказал? Война невозможна! – опущенная голова Соколика, что ранее свидетельствовало о его согласии со мной – являлась, скорее, протестом. Он опустил голову, но лицо его все более полнилось мужественностью. Тяжелый подбородок опускался. Внутри себя Соколик ворчал. Он не хотел войны. Он сопротивлялся, предупреждал.

*...Ридан, оставив свою футбольную тренировку, вошел в отцовский сад. Это была последняя тренировка Ридана. Как-то уже не получалось бить по мячу, тренироваться. В саду, между сливовыми и айвовыми деревьями, на бордюре валялся его кинопроектор «Луч-2». Он именно валялся, а не лежал. Ридан не прикасался к нему уже много лет. И пленки, снятые им, гнили в одном из ящиков, крошились. Это ли не было знаком, что рушится старое. Уходило все: кадры с мамой, с друзьями, когда сидели под деревьями в призывном пункте в Баладжары, провожали в армию Генку.*

*Но что было делать выводы, когда жизнь продолжала быть прекрасной. Он писал, его опубликовали, и он напишет еще. А кино – это прошлое. И пленки не сохранить, не создать ведь дома условий для архивного хранения лент. Валяется проектор? Да ладно, не нужен никому, вот и валяется. Ридан и внимания не обратил, что расстались они с Соколиком, оба расстроенные войной. Один из-за того, что не поверили, а другой из-за того, что омрачили. Какая еще война, когда у тебя только что родился сын.*

... Жена была обеспокоена, что я задерживался.

– Ты сегодня что-то долго, далеко забрел? – жена выспалась, готовилась к курортному подебрадскому дню.

– Да, очень точно, забрел. – Мне хотелось побыть одному, ничем не делиться и не идти ни на завтрак в гостинице, ни на лечебные процедуры, принять душ, упасть на кровать и забыться. – Ты правильно подметила, забрел, но выбрался. На завтрак не пойду, побуду здесь, полежу, подумать надо.

Уже под душем я с тревогой обнаружил на груди крохотную точечку с запек-

шейся кровью, жесткую щепку корня, занозой торчащую из тела. Частичка Соколика вонзилась в меня. Глубоко ли? Выдергивая из себя «магию», я, видимо, что-то потревожил в ранке, запекшаяся кровь, оживши, потекла по мне струйкой. «Фу ты, досада какая, не хватало только уколов от столбняка». Но умом я понимал: надо будет предпринять что-то, кто его знает, как магия взаимодействует с кровью.

«Даже кровь сегодня пролил! Отставить!» Эту команду я всегда выполнял охотно. Она была у меня на вооружении с армейских времен, когда после института мы проходили офицерские сборы в войсковой артиллерийской части в Гобу. Конечно, «Отставить!» – все же приятнее, чем «Смирно!»

«Отставить!» – командовал я себе, когда не находил решения. На время оставлял проблему, знал, что она разрешится подспудно, без моего суетного участия.

Уткнувшись в подушку, я пытался во всех подробностях вспомнить прошедшее утро. С самого того момента, как меня остановила женщина: «Фиби!. . »

Солнце светило в щель между портьерами, грело затылок, отвлекало, требовало прикрыть рукой затылок, но лежать в непонятной позиции с ладонью на затылке было неуютно. Приходилось терпеть, ждать, когда солнце, сдвинувшись с места, поплывет по небу дальше. Подняться же, плотнее задвинуть портьеры, было сродни измене самому себе. Правильнее было бы вспомнить что-то хорошее о девушке-старушке, например, то, как она изящно пила пиво.

«Только молодости себе не проси!»

«Не буду! Я и так не стар!» – отвечал я, прикрывая затылок обеими руками.

## 5

*...Ридан лежал, уткнувшись в подушку, упорно пытался заставить себя слушать Гришкину пьесу. Григорий заканчивал читку. Актер театра, он знал, как подать текст, где повысить голос, напустить пафоса или наоборот, читать бесстрастно, как текст документального кино. На Ридана Гриша не обижался, знал, что хотя Ридан и лежит, но слушает. Он с первого курса слушает все его пьесы лежа.*

*– Этот всегда слушает мордой вниз! – говорил Григорий, однако очень ценил замечания Ридана, но вот только, несмотря на советы Веисаги, героиню свою каждый раз упорно выбрасывал в окно.*

*Сдавшись, Ридан перестал делать попытки вслушаться в пьесу, отказался слушать ее. Вдруг почувствовал, что с того момента, как с головой ушел в подушку, что-то в комнате стало постепенно меняться. Их по-прежнему было четверо: Х.П., Григорий, Рита и Ридан Веисага. Правда, заходили по привычке сокурсники попить чаю, однако увидев, что идет читка, спешили уйти. Пришлых Ридан в расчет не принимал, он даже головы не поднимал, чтобы посмотреть, кто вошел. Что-то менялось в восприятии им тех троих. Да и в себе он находил что-то новое, незнакомое. Откуда-то вдруг появилась уверенность, что Х.П. какое-то непродолжительное время, около полугода, жил на Камчатке в одном особняке вместе с шестью больными лепрой камчадалами. Откуда это вдруг взялось, Ридан не понимал, может, сам Х.П. поделился. О камчадалах Ридан почти ничего не знал, но о лепре был начитан.*

*Уже после окончания института он задумал сценарий о больных лепрой. Ридан собирался поселить их на заброшенном военными острове. На*

этом острове он побывал однажды. Отец взял его с собой на нежилой остров, поехали на пикник, заодно и обследовать остров, взять пробы воды и грунта для обнаружения нефти. Они шли до острова на катере пару часов. Пока специалисты изучали остров, брали пробы воды, грунта, лавы затухшего грязевого вулкана, Веисага мог половить рыбку, покупаться, но, посмотрев на воду, не стал этого делать. И не потому, что вода была мутная, напротив, – поразившись ее чистоте. Вода на острове была чиста и прозрачна, проглядывалась до самого дна, она бы не приняла ничего инородного и Ридана бы отвергла... Это-то и было обидно, Ридан давно себя считал человеком моря. Сидел, бывало, на вахте на нефтяном промысле перед окном, смотрел в ночное море, оно плескалось под ним, кроме плеска волн он все пытался услышать голос моря. Может, голосом моря был гул. Гул Каспия Ридан слышал. Он бы мог различить его во множестве морских гулов.

Ридан не стал ловить. Бродил по острову, набрел на окопы, блиндажи, пачку сигарет «Памир» в противогазе, найденном в песке. Он слышал, что в войну на островах располагались зенитные части, оберегавшие Баку и его нефтепромыслы от налетов вражеской авиации. Рыбачить ему расхотелось. Он был благодарен отцу за то, что тот взял его с собой на остров. В тот день на острове он нашел комнату, в которой на стеллажах аккуратными стопками лежала солдатская форма военного образца.

*Сценарий, где больные лепрой будут жить на острове, лечиться грязью вулкана, потому как никакого другого лечения и не было, носить военную форму, я напишу позже. По сценарию, наступившее «Новое Время», пригласив иностранные компании для разработки нефтяного месторождения на острове, будет пытаться выселить прокаженных. Я напишу сценарий и потеряю его. Он вдруг исчезнет из дома. Ремонт в квартире не переживет. И сдамся, приму единственное в таком случае решение: так оно, наверное, и должно быть. Но так или иначе, сценарий мой будет связан с Х.П.*

Ридан лежал лицом в подушку, но четко видел всех. Видел, как Х.П. поправляет волосы, скрывает ими небольшую язвочку с коркой на лбу, и его извиняющуюся улыбку, она сверкнула львиным оскалом и потухла. Он не стал делать никаких выводов, напротив, попытался побыстрее избавиться от аналогии с повестью Георгия Шилина «Прокаженные». Там у больных лепрой – язвочки и львиный оскал. Нет, с Х.П. все в порядке. Просто у писателя Х.П. творческий застой, не получается ничего написать. Такое уже было с ним однажды на втором курсе института. Надо было подтвердить свою творческую дееспособность. У Х.П. не получалось; рассуждать о литературе он мог, сколько угодно, что-то взять и написать – не получалось. Была попытка описать остановку автобуса, но описание это не имело завершения. И Ридан решил тогда помочь приятелю, написать за него. Ему не стоило больших трудов написать рассказ. Рассказ написался, как бы слепился из воздуха. Ридан рассказами дышал. Рассказ тот быстро забылся, он отдышался уже его воздухом, в памяти оставалось лишь то, что в рассказе был Ниагарский водопад. Какие ассоциации привели Ридана к водопаду, он сейчас вспомнить не мог.

У Х.П. вновь застой, писать ему больше ничего не буду, – сказал себе Ридан. Он сам может написать, например, о Камчатке и камчадалах, или взять и описать все, что происходит сейчас, в данную минуту. Написать рассказ, не выходя из комнаты, накопает, как картошку, отобьет у жизни, как горняк уголь в шахте. Начать можно с любого из нас: с Григория, например, с Риты или даже с соседа из соседней комнаты. Он незримо присутствовал в комнате со своей Далидой. Сосед слушал во всю мощь своего магнитофона Далиду. Веисага встретил этого шумного человека, когда тот только въезжал в общагу. Весь вид его говорил: «Встречайте! Встречайте меня, я приехал!» Так уже было однажды, на первом курсе, старшекурсник, уже печатавшийся в Москве студент-заочник с БАМа К-цев с таким же апломбом появился в общежитии Литературного института. «Москва визжала и пищала, Москва К-цева встречала!». К-цев ходил по коридорам общежития, читал всем стихи. «Читайте стихи друг другу, общайтесь, спорьте!» – наставлял он собратьев с младших курсов.

И этот приехал, весь из себя от народа, и от власть имущих одновременно: с рюкзаком картошки за спиной, портативный фирменный магнитофон на плече, модный портфель-дипломат в руке в кожаной перчатке. Для перчаток был еще не сезон, но он был поэтом и, говорят, хорошим, значит, ему было виднее. Времена года у него менялись хаотично, как стихи подскажут. В его душе уже шла его «Болдинская осень». Может, дипломат мозоль на руке натер, потому и перчатки надел. Бывший мент, дослужившийся до областного начальства, но остающийся простым парнем, унимал драчунов в общежитии своим излюбленным способом – «Приемом Нельсона». Подходил сзади к одному из драчунов, пропускал руки ему подмышки, прогибал. Вырваться было трудно. Стихи свои он наговаривал на магнитофон, потом за плату ему их переписывали студенты-очники. За талант ему прощался шумный нрав. В минуты слабости – тоске по жене или по чему-то народному – он до одури слушал «Кострома, Кострома...» или египетско-итальянскую красавицу Далиду.

Отрываться от подушки, возвращаться в комнату Ридану не хотелось. Он ждал концовки, когда Сонечка выбросится из окна. О, как были бы неуместны аплодисменты зрителей, подумал Ридан, если бы пьесу поставили.

Суицид совершился, говорить особо не хотелось. Он не собирался ничего говорить. Пьеса написана, на следующей неделе защита диплома. Что теперь менять? Да и советовал уже Веисага Ридан Гришке не убивать Соню. Накорми супом, пусть она накрошит в него крупно хлеб, ест с аппетитом. Сигать в окно раздумает. Пусть выйдет замуж и никогда не изменяет мужу. Веисага Ридан подумал, что написать рассказ, пьесу, где сильные чувства, где смерть, где обличаются пороки, нетрудно. Гораздо труднее написать, когда все обыденно и все хорошо. Чтобы получилось так: ничего не происходит, а рассказ есть, живет.

Ридан понимал, как Григорию хочется сейчас одобрения, поддержки, даже восхищения пьесой. «Ты, Григорий, драматург!» И все, больше ничего

*не надо. Ридан молчал, почему-то до мельчайших подробностей вспомнился один из редких вечеров, когда они сидели втроем – Курбан, Ридан и Григорий. К ним в комнату в тот вечер никто не заходил. Темным, тяжелым пятном что-то пролетело вниз за окном. Курбан первым бросился к окну, открыл.*

*«Что-то выпало из окна, народу набежало!» – говорить, что кто-то выбросился, Курбан не стал – бывший десантник, чувства свои скрывать был научен. Налил себе в стакан, выпил, не морщась.*

*Ридан перевел взгляд на Гришу. Толстые, плюс девять, линзы его очков увеличивали капельку набухающей слезы на ресницах. Ридан не понимал, откуда он взял, что в юности в детдоме Григорий пережил драму, потерю близкого человека, одноклассницы, которая ему очень нравилась. Она вдруг выбросилась из окна. Ведь не было никаких признаний Григория, Ридан это хорошо помнил. Откуда он взял, что кто-то близкий Григорию выбросился из окна. Но сейчас, лежа на кровати, он почему-то был уверен, что было, и полностью объясняло поведение героинь его пьес. «При чем тут суп?» – сказал себе Ридан, поднимая голову.*

*Отчетливее, кажется, даже громче, стала слышна Далида соседа. Рита, вытянув старательно губы в позу «само внимание», внимала Григорию. Боковым зрением Веисага увидел, как Х.П. между делом поправил волосы на лбу. Риту с вытянутыми губами он видел во второй раз, и оба раза она ему очень нравилась.*

*Первый раз это было утром в институте, на волейбольной площадке. Она взлетела над сеткой с заведенной за голову для удара рукой, ступни ног, оторвавшись от опоры, безвольно дрожали, губы, сложившись в трубочку, старательно вытянуты. «Сейчас вдарит!» – сказал себе Ридан. «Вдарит» – было позаимствовано из лексикона одноклассника, Виктора Войтова, тот всегда предупреждал, когда собирался кого-то ударить: «Смотри, щас вдарю!» – говорил он, но не бил.*

*Хлесткий удар, четкий отпечаток мяча на песчаном грунте говорил о силе удара Риты.*

*Такое уже было в жизни Ридана, волейболистка Дина из пионерского лагеря «Ласточка». Дина так же мощно била по мячу. Воспарив, зависала над сеткой, ждала мяч, губы старательно вытягивала в трубочку. Красивая девушка из старшего отряда, она нравилась всем, хотя может это Ридану только казалось, и она нравилась лишь ему одному.*

*«Дина!» – кричал лагерь, и Ридан вместе со всеми. Дина, взлетев над сеткой, заведя руку, согнутую в локте за голову, била по мячу что есть силы...*

... Я лежал на кровати, положив обе ладони на затылок, берегся от горячих лучей летнего солнца, лоб, лицо, нос горели от удара мячом пятидесятилетней давности. Память хранила эту приятную, обжигающую боль. Мне множество раз на футболе попадали мячом в лицо – и когда стоял на воротах, и когда бегал по полю, но я никогда не терял сознания. А тут вдруг от удара Дины упал, потерял сознание. Я не знал, сколько это продолжалось, но наградой мне была Дина. Она, вытянув губы трубочкой, вдыхала в меня жизнь. От дыхания Дины пахло сгущенкой. Подкормка тети Римы, работницы столовой. Любила тетя Рима побаловать детей сгущенкой.

«Идите сюда, дети, сгущенкой кормить буду!» Смотрела, как мы пили по очереди оставшуюся сгущенку из больших железных банок, напевала что-то народное, татарское.

Дина вдыхала в меня воздух, спасала, даря мне первый «поцелуй-не поцелуй» в моей жизни, а может, и в своей тоже. И губы трубочкой, и Динин запах со сгущенкой навсегда остались во мне. Я бы еще не один раз подставился под ее удар. И когда все восхищалась «спортсменкой, комсомолкой, отличницей и, наконец, просто красавицей», в моей жизни уже была «спортсменка и просто красавица».

Как депешей из прошлого пришла уверенность в том, что Дина не приехала в лагерь на следующий год потому, что родители увезли ее жить в Израиль.

Солнце в щель между занавесками, оставив в покое мой затылок, направилось дальше в комнату, должно было греть мою куртку на спинке стула с Соколиком в кармане. Разогреет, высушит Сокола! Вставать надо, спасать соседа. Я вскочил. На стуле, залитая матовым солнечным светом, сидела жена. Я смотрел на нее, она сливалась с бархатистым, матовым солнечным светом, в котором ярко зеленели ее глаза. Будь у меня сейчас камера с трансфокатором, с солнечными фильтрами, я бы снял ее на пленку. Я смотрел на жену и видел кадр: она сидит на стуле в матовом солнечном свете – спокойная, уверенная, знающая вкус жизни женщина, за спиной у нее бескрайнее, уходящее в Шемаху маковое поле. Кадр с моей женой в маковом поле я проектировал лет десять назад. Мы ехали с редакцией в сторону Шемахи, отдохнуть на природе, остановились посреди макового поля, тянущегося по обе стороны дороги. Женщины вышли пройтись. Я остался около машины, все искал ракурс, где за моей женой не было бы видно никого, только она одна, и дальше, до бесконечности, – поле в маках.

– Ну, что на этот раз случилось?

Вопрос ее уже предполагал стандартный для нас с женой ответ: «Так, пустяки», – сказал бы я в ответ. Это было бы цитатой из моего друга Генки и бывшего президента Франции Жоржа Помпиду. Генка поразил однажды чтением стихов Помпиду. Я запомнил их в его чтении. «*Опять пришла зима, и в окнах желтый свет. В такой же вечер прошлою зимою я грустил, спроси меня кто-либо, что с тобой? «Так, пустяки», сказал бы я в ответ!*» Я отвечал так ей много раз: «Так, пустяки!»

– Уж не разбил ли ты чего, у тебя обычно такой вид бывает, когда ты бьешь машину нашего сына.

*Je ne te comprends pas, madam! (Я не понял тебя, мадам) Молчание мое было на французском.*

– Я только что видел вас, мадам, сидящей на стуле в маковом поле. И было лишь три цвета: желтый, как уныние дня, в трепетании маков – красный, как тревога, и спасительная зелень вашего взгляда.

– Ты пьян, Веисага, выпил с утра.

– Нет! – я и забыл, что пил. Двести граммов сливовицы не подействовали. Тут же ощутил во рту вкус сивухи. Сивуха была мне по вкусу с самого первого раза, когда я попробовал брагу. – Нам пучок соломы рапса подарили, – сообщил я.

Вытащил из кармана куртки Соколика. Он был влажный и холодный, как лед, только коричневого цвета. Чуть не выронил его.

– Вот, знакомься, – Соколик! Я назвал его именем соседского мальчишки из Карачухура, фигурка очень на него похожа.

Жена бережно взяла в руки Соколика, была умилена.

– Ой, чудо какое!. . Это же корень мандрагоры! Откуда он у тебя? Говоришь, солома! Где ты его выкопал? Ты его выкопал?! – вскрикнула она испуганно.

– Oui, madam, да, мадам. Подарили нам, женщина подарила!

– Какая женщина? – ей было и не важно, какая именно женщина.

– Наполовину старая.

– На какую половину?!

– Ты не поверишь, мы ее не знаем! Но она наша старая знакомая, видели ее на вокзале, когда ездили в Колин. Она была в крепдешиновом платье, помнишь?

– В шифоновом!

– Ну, в шифоновом. И год назад ее видели, в тенистой аллее. Шли три старушки. Три грации в тенистой аллее, помнишь? Она была в середине. Теперь помолодела здорово, только лицо подвело, иногда вдруг покрывается морщинами, как пересохший, потрескавшийся солончак.

– Веисага! – взгляд ее застыл в напряженном ожидании неприятностей. – Говори!

– Так, пустяки, сказал бы я тебе! Встретилась на рассвете у памятника Йиржи Подебрадскому. Назвалась Фиби, может, меня так назвала. Предложила пивка попить. Дала пучок соломы, в ней Соколик. Вот вкратце вся история. Там еще была собака противная, такса, тоже Фиби, и официант с козлиной бородкой из пивного трактира, куда мы вчера вечером заходили, но это уже другое.

– Веисага, ты вообще что-нибудь знаешь о цветке мандрагоры, о его корне, что он магический, по легенде к висельникам имеет отношение?

Я молчал. Из магических цветов мне была известна только ромашка, погадать мог запросто на ней.

«Да, я обалдуй»!

– Двоечник ты, – двоечником она называла меня незлобно. «Есть маленько, – соглашался я, – кто сейчас не двоечник?». Но по натуре-то своей двоечником я не был. Я получал двойки в школе из солидарности с друзьями, знал урок, но не отвечал. И всегда, когда мне ставили двойку, внутри меня зрел мощный протест, я вспоминал ответ, отчетливо видел его своей зрительной памятью в книге, где, в какой части страницы он указан: справа или слева, вверху или внизу.

И про цветок мандрагоры я вспомнил. Стихотворение в эпиграфе к драме Кнута Гамсуна «Царица Тамара» называлось «МАНДРАГОРЪ».

*Перелистывая томик Кнута Гамсуна более чем столетней давности, за 1910 г., подаренный мне коллегой по работе в редакции Ровшаном, я наткнулся в драме «ЦАРИЦА ТАМАРА» на героиню, названную именем моей мамы. Точнее, на производное от имени моей мамы: Фатма. «Я чиста, потому что мусульманка!» – возражала в драме Фатима царице Тамаре. И к Кнуту Гамсуну я проникся еще большим уважением, поразился широте его интересов. Холодный северянин, норвежец, и вдруг – царица Тамара, мусульманка Фатима. Вспомнилось последнее, что я читал о Кнуте Гамсуне – эссе в журнале «Иностранная Литература». Мы выписывали в редакции этот журнал в 2010 году, как раз через сто лет после издания тома из собрания сочинений К. Гамсуна с «ЦАРИЦЕЙ ТАМАРОЙ», со стихами «МАНДРАГОРЪ».*

*В эссе в «Иностранной Литературе» Кнут Гамсун доживал свой век в приюте. Он не разговаривал, не мог ходить. Работница приюта выкатывала Гамсуна на каталке на берег озера, оставляла его там. Кнут лежал безмолвно в каталке до самого вечера. Молчал. Что ему было говорить, когда он уже все сказал. Так было каждый*

*день, пока автор эссе находился в этом же городке. Он показывал окружающим Гамсуна, но тот мало кому был интересен.*

*Я каждый раз вспоминаю это эссе, связанное с Кнутом Гамсуном, когда приезжаю в Трускавец, смотрю в окно своего номера на озеро, вижу по утрам туманную дымку над ним, жалею, что ее не видит Гамсун. Он доживал последние дни у озера. Мне хочется, чтобы его душе было покойно.*

– Вот, почитай, что пишут о корне мандрагоры. – Жена протянула мне свой телефон.

«Мандрагора – самое загадочное растение на планете. Ореол таинственности окутывает мандрагору с начала времен. В Аравии существовало поверье, что мандрагора светится ночью.

Извлекать мандрагору можно исключительно опытным людям. Обывателям она несла только неприятности, и даже смерть. Решившемуся на такое надо пройти особый ритуал. Для этого используют собаку. Привязывают к растению, кидают ей мясо, чтобы она тянулась к нему и, соответственно, вытягивала корень из земли. Во время этой процедуры растение вопит звуками, сводящими всех с ума, до кого они могут донестись. Собака, как правило, погибает.

В медицине используют мандрагору для лечения опухолей. Корень мандрагоры напоминает тело человека, отсюда следует проведение с его помощью различных магических ритуалов. Мандрагора считается средством от различных вредных и плохих чар, так как в ее корне находится большой запас энергии.»

***МАНДРАГОР***

***По горным откосам, в заморской стране,***
***Растет он в кустах под скалою.***
***Он весь каменеет при бледной луне***
***Искрится адской росою.***
***Как корень волшебный он всюду в цене***
***Как зелье, что действует скоро.***
***Таков стебелек мандрагора.***
***Он всем расточает свой вкрадчивый яд,***
***Туманящий души людские:***
***Здесь холодом смертным испивший объят,***
***Там хохот и пляски лихие.***
***Где кроткий, а где ненавидящий взгляд***
***Он может зажечь без разбора.***
***Зане он цветок мандрагора.***
***Но в час прихотливый роняет он в кровь***
***Сиянье лазури рассветной.***
***И в сердце холодном, смирившим любовь,***
***Пылает огонь беззаветный.***
***И вновь горяча и томительна ночь,***
***Тоскливость любовного взора.***
***Таков-то цветок мандрагора.***

По-своему двоечничеству я не знал, что о мандрагоре писал и другой почитаемый мною писатель Иван Бунин.

Преступника тянет на место преступления. И меня тянуло в трактир: «Найду собаку, найду и женщину, всучившую мне Соколика». Надо вернуть ей корень: «Возьми! Нам ничё не на, у нас сё е!» – как говорил Григорий, проснувшись поутру, глядя в окно на Останкинскую телебашню.

Два взаимоисключающих друг друга желания терзали мне душу. Пойти в трактир, поговорить с официантом, уже не молча, а по-мужски, схватить его за глотку или за бородку. «Найди, гад, бабку, или передай ей корень! Умоляю, избавь от него. Я не знаю, что с ним делать. Не нужно мне богатство и здоровье от магии!»

Другим желанием было повалиться ничком на кровать, раскинув руки и ноги, забыться, уйти туда, куда поведет.

*... Далида уже в десятый раз, наверное, пела про Салмаю. И вдруг Рита стала танцевать. Она сливалась с Далидой, она вполне в нее вмещалась, была изящной и желанной, мелко переступая ногами, она в клочья разрывала завесу дозволенного. За стеной бесновался от тоски поэт-истерик, заливающий тоску Далидой. Ридан чувствовал, что Рита танцует только для него. Он почему-то уже не принимал в расчет ни Григория (тот весь был в пьесе), ни Х.П.. Тот должен довольствоваться лишь тем, что Рита нравится другим. «Нравятся тебе, басурманин, наши русские девчата!»*

*Впервые Ридан заприметил Риту два дня назад в троллейбусе. Она была в противоположном конце. Напряженно смотрела в окно, будто ей ограничили угол зрения, взгляд направо, взгляд налево – предосудительно, неправильно поймут. «Таких женщин всегда неправильно понимают, они живут душою, а не расчетом и разумом, – думал Ридан. – Они живут порывами и других ими заражают. На свете таких, должно быть, было немного... »*

*Одну из них он видел в Ленинграде, шла навстречу Ридану. Всего лишь шла женщина, знающая, что нравится, тем самым уже разрывала в клочья завесь, за которой береглось недозволенное. Она всего лишь шла, и Ридана не знала. Ридан спешил на экзамен – писать сочинение, он поступал в университет на философский, на научный коммунизм.*

*Ночь он провел на дебаркадере, на противоположном берегу Невы, пил кофе. Белая ночь его не впечатлила. Сидел, ждал, когда она будет поглощена рассветом, но так и не заметил перехода. Об экзамене он не особо беспокоился, выберет свободную тему, какой бы она ни была. Не любил он догмы, заученные трактовки. Проведя ночь перед экзаменом на дебаркадере, он уже запустил в себя мысль, что не хочет поступать на философский. Когда утром сведут мосты, он перейдет Неву, поспешит в общежитие, чтоб хотя бы часик поспать, потом пойдет на экзамен. Теперь Ридан знал, что свободная тема окажется: «Почему я поступаю на философский?» Но когда шел на экзамен, он еще и понятия не имел, что раздумает поступать, что не захочет заниматься научным коммунизмом. Вернется в Баку продолжать учебу в политехническом, где взял отсрочку на год. И это лишь потому, что женщина прошла. Он на тот момент не знал, что на сочинение уйдет минут пятнадцать, не больше. Напишет несколько строк. Его фишкой будет эпиграф к сочинению – волнистая, напоминающая затухающую синусоиду, линия, позаимствованная*

им у О. де Бальзака из «Шагреневой кожи». (Бальзак сам взял ее в качестве эпиграфа из какого-то произведения, где старик рисовал на берегу моря такую же линию, только вертикальную, говорил, что это линия жизни). Волны накатывались, – подумал Веисага, – смывали эту жизнь, старик рисовал ее снова. Ридан сядет писать сочинение «Почему я поступаю на философский», перед ним пройдет вся его жизнь. И ему не захочется ничего в ней менять. Он опять увидел перед собой женщину, что шла утром. Она не вписывалась ни в какую философию. Была просто женщиной. Он раздумает поступать. Не по душе ему окажется наука о бытие. Какой научный коммунизм, когда он увидел, как женщина идет.

Если бы тогда Ридан все это знал, непременно подошел бы к ней.

Они шли друг другу навстречу, женщина видела, как нужна она Ридану. Прошли, оглянулись. Теперь бы Ридан вернулся.

– Я иду на экзамен, – сказал бы он ей.

– ...

– Подожди меня минут пятнадцать, скажем, вон там, у двенадцатой колонны. Я быстро, напишу сочинение и приду.

– И что потом?

«А что потом? А что потом, она шептала шепотом!» Потом – ничего. Так или не так, все во мне будет переиначено. Навсегда запомню, как ты шла мне навстречу, а я мимо прошел. Такая вот прелюдия».

– Потом?! Потом пойдем на качели или на карусели. Покатаемся на Чертовом колесе. И пока мы сделаем полный круг, я расскажу, что помню тебя многие годы, не стоит мне отказывать в желании. Я и так себя корю, что пошел на экзамен...

... Ридан пробирался к Рите несколько остановок, все раздумывал, подойти или нет. У Савеловского вокзала решился, стал рядом с нею. Установился в ту же точку на окне, на которую неотрывно смотрела Рита. Говорить, обращаясь к ней, глядя сугубо в окно, забавно, – решил Ридан. Будто сам с собою разговариваешь. «Ты в институт? – спросил Ридан, не поворачивая к ней головы. – А я – нет. Занеси в деканат заочного отделения мою контрольную, – произнес Ридан, глядя в окно. – Меня в общаге сегодня не будет, завтра заходи к нам?» Ридан не ожидал, что Рита с легкостью согласится.

– Давай контрольную...

– А ее нет, это так... заговорить с тобой хотел.

Теперь Рита танцевала, он полагал, что для него. За окном, внизу, предположительно лежала выбросившаяся из окна их комнаты Сонечка.

Вдруг что-то словно бы ужалило Ридана в грудь. Перехватило дыхание. Поэт за стеной закончил танцы. Было одиннадцать часов вечера, шуметь запрещалось. Поэт, как административный сотрудник областного ранга, был законопослушным. И Далида, должно быть, устала. В наступившей тишине вернулись в Гришкину пьесу.

– Верю, Гриша, верю, – сказал Х.П.

Странно было бы, если бы Сонечка не выбросилась из окна, как-никак, с первого курса пытается, – крохотная точечка на груди Ридана словно пламенем пылала. Хотелось снять свой хемингуэевский свитер, посмот-

реть, что это его все жалит.

– Но ты молодец, Григорий, драматург ты, я это знаю.

– А что, хорошая пьеса, вы, Гриша, большой молодец, – Рита собиралась уходить. – Спасибо вам, Гриша.

Когда Гриша был в ударе, он читал Баркова, его знаменитую поэму.

«Не сейчас!», – мысленно скомандовал ему Ридан. И все стали расходиться.

Ридан снял свитер. Крохотная точечка с запекшейся кровью на груди слева уже не жалила. Ридан никак не мог взять в толк, откуда вдруг она появилась, сковырнул корку, под ней была крохотная точка давно зажившей розоватой плоти.

«Будущее даже в прошлом способно нас ужалить, когда мы в чем-то не правы», – вспомнил Ридан из рассказа своей дипломной работы, укладываясь спать.

Утром, когда Ридан вынырнул из сна, перед его кроватью в легком красном пальтишке стояла Рита.

– Проститься пришла. Прости, уезжаю.

– Зачем, куда? В Кострому?

– Почему в Кострому? – Рите было весело. – Во Владимир!

– Потерпи пару дней, в понедельник после защиты вместе поедем.

– Я обещала маме приехать, картошки накопать...

«Далась им всем эта картошка»...

... Риту Ридан догнал на улице, когда она уже садилась в такси.

– С тобою поеду. Я замечательно копаю картошку, лучше всех. Однажды участок на даче в двадцать пять соток перекопал. Двигайся, рядом пристроюсь.

– У тебя же защита?

– Успеется! Я уже однажды выбрал экзамен.

Ридан ехал и знал, что совершает поступок, что их обоюдный с Ритой сиюминутный порыв в будущем в его рассказах явится той самой отправной точкой, станет правдой навсегда, на которой будут строиться рассказы, и в них уже не будет места для непонятно откуда вдруг появляющимся и напрочь забывающимся Ниагарским водопадам. Правда с Ритой будет рядиться в разные одежды, она будет аристократического вида пожилой француженкой, ищущей гардероб в Эрмитаже, к которому, взяв даму под руку и источая весь свой скудный запас французский слов, подведет Ридан. Будет молодой женщиной, накинувшей на себя утром мужскую сорочку и готовящей у плиты блины. Точно такой, какую любят снимать в фильмах про любовь. И для этой правды купит Ридан в валютном магазине «Березка» на чеки, подаренные ему братом, пакистанскую клетчатую голубую рубашку. В такой рубашке намного выше колен, с голыми загорелыми ногами, Рита будет очень выгодно смотреться.

Однако истина, нигде пока не описанная, будет в том, что они так и не накопают картошки. Картофель будет уже выкопан и сложен в подвале влюбленным в нее соседским увальнем. Крупный, рыжий, инфантильного вида мужик с огромными пудовыми кулаками, готовый в любую

*минуту услужить, всегда будет рядом. Глядя на него, Ридан почувствует себя там, неподалеку от выкопанной картошки, чужим. Он позарился на чужое, потому что внезапные порывы всегда целятся на чужое.*

*– Мужик, брага у тебя есть? – спросит от отчаяния Ридан. Он решит уезжать в Москву.*

*– Е! А как же!*

*– Давай, тащи сюда, будем праздник урожая картофеля отмечать!*

*«Вот рыжий падла, – ругнется беззлобно Ридан, – отхватил девку, будет считать ее своей, правда, на время, пока она не отдастся следующему порыву, такие отдаются порывам без остатка, в конце концов истощаются, перестают быть. Ей не надо будет бросаться из окна, она просто перестанет быть, хотя все время будет рядом».*

*И еще одной правдой в тот день, когда Ридан вернулся из Владимира, было то, что ночью увезли Х.П. Больше его никто не видел. Комнату его закрыли. Ридан догадался почему, но никому не стал говорить, полагая, что лишь ему одному известно о камчадалах.*

## 6

... Поднялся я с постели с ясной головой и принятым решением. Соколика надо возвращать. Укутанный в полотенце, он был закрыт в ванной. Пойдем с Соколиком брать след, до самой Эльбы дойдем.

Жена вернулась с очередной лечебной процедуры, когда я уже выпил свою дневную порцию бутылочного пива «Ургуэл Пилзень». Самое классное, лучшее в мире пиво, как утверждают чехи. Я бы, конечно, поспорил в пользу другого чешского пива «Козел», но не решался. Может, и вкуса, как и слуха, не имею.

– Иду с Соколиком старушку искать, – сказал я жене, укладывая завернутого в носовой платок Соколика во внутренний карман куртки, теперь уже с другой, с правой стороны. – С нами пойдешь?

– Пойду! – сказала жена.

Прекрасно говорящая по-русски Мартина на ресепшене гостиницы еще утром просветила меня, сообщив, что жена по-чешски будет «*манжелка*». Мне понравилось, подумал, что так и буду обращаться к жене. А то все мадам, да мадам, только что мадемуазель не называю, впрочем, это было бы странно после тридцати с лишним лет супружества и при наличии двух детей. Увидев Мартину, мне захотелось назвать жену манжелкой, хотя бы в благодарность, за то, что она идет со мной. Стал придумывать фразу складную, не сумел, дал себе команду: «Отставить! Дома буду так ее называть!» Мы вышли из гостиницы, я словно взял след, решительно пошел по своим утренним, уже тысячу раз затоптанным следам. Пытался вспомнить утренние мысли и ощущения. Вот цветочные часы, с календарем в цветах. Показывают 15-ое августа. Через несколько дней – день рождения сына. Утром на цветочном календаре меняли дату, женщина меняла ящички с цветами.

«Ах, вот оно, значит, как происходит, теперь буду знать!»

Женщина улыбнулась, ей нравилось, что она сопричастна тайне, что хранительница ее. За цветочными часами в крохотном скверике, окруженном низенькой оградой, механический гномик стал бить молоточком по шляпке железного гриба. Цветочные часы показывали шесть часов утра. «Через несколько дней день рождения сына. Он, должно быть, уже проснулся, едет в Москву на работу. А дочь в Баку,

ведет детей в садик. Добрый Дэ-э-эн!», – пожелал я им на чешский манер.

Снова захотелось услышать увертюру Доброго Дня. Оркестр начинал настраивать во мне инструменты. Я слышал высокое звучание скрипок, без альтов и виолончелей, и такт, отмеряемый контрабасом без смычка, как звук шагов. «Тук, тук, тук». Совместимо ли такое сочетание? Но мне ли, неучу, было знать? Но зато я знал и видел за контрабасом своего близкого друга детства Ильяса. Выпишу его из Америки, когда увертюра к моему роману будет готова.

«Соколик, как тебе музыка Доброго Дня, слышишь?» Соколик отзывался прохладой в груди справа через футболку, подкладку куртки, носовой платок.

– Сегодня у Натальи экскурсия в Кутну Гору, поедем? – спросила жена, поспевая за мною.

«Кутна Гора, говоришь?!» И вдруг словно осенило: «Поедем! Обязательно поедем. «Если, конечно, не найдем старушку.

В Кутна Горе, в церкви-музее «Костница», и оставим мандрагору!» Не думаю, что будет криминально. Оставлю тебя с черепами, не обидишься, Соколик, не начнешь чудить?

Костница в Кутна Горе – как напоминание об эпидемии холеры. Церковь-музей обложена человеческими черепами и костями. В свое первое посещение мы не решились зайти в зал. Там самое место магии, будет храниться в средневековье, в своей стихии.

Я шел, забавляя себя подобными мыслями, и вдруг словно резко нажал на тормоза: «Отставить!»

На площади, на светофоре, прямо напротив того места, где утром я встретил женщину с пучком соломы, стоял прекрасно сохранившийся «Москвич», как новенький. И цвета он был бежевого, какой и был выбран для двухмиллионного «Москвича».

Соколик ерзал в кармане, щекотал грудь...

*«Узнаю, батенька, непременно узнаю твою работу, как увижу «Москвич» без правой боковины...» Ридан попытался прочитать эти несколько строк из Генкиного письма его голосом, не получалось. Более всего не удавалось произнести слово «батенька». Это бодренькое слово, взятое напрокат у вождя, Генка произносил с хрипотцой и хитроватым Ильичевским прищуром. Не зря, видно, в научный коммунизм пошел. Подражал кумиру.*

*«Да, «батенька», – отвечал ему мысленно Ридан на свой лад. – Работаю на конвейере, на автомобильном заводе, скоро выпущу двухмиллионный «Москвич». Так-то брат, знай наших! Что касаемо правой боковины, батенька, на конкурсе сварщиков контактной сварки правых боковин автомобилей занял бы второе место, первое никому б не дали, если, конечно, вы такой конкурс организуете».*

*Но после Генкиного письма Ридан увеличил число контактных точек, сваривая правую боковину кузова «Москвича». Кто его знает, что может статься с правой боковиной в эксплуатации?*

... Я остановился, как вкопанный. На площади перед светофором стоял «Москвич-408» из нашей двухмиллионной серии. Даже у нас, в бывшем Союзе, его давно уже было не встретить. А здесь он вот, пожалуйста, полюбуйтесь, блестит никелями, как новенький. Ретроэкземпляр, теперь он своей крутой дремучестью стал ближе к машине моей мечты – автомобилю, на котором ездил Штирлиц.

Загорелся зеленый свет светофора, «Москвич» медленно, словно дразня меня, а может, давая время вспомнить, тронулся вперед, плавно вписываясь в поворот дороги, ведущей к мосту над Эльбой.

– Что с тобой, тебе плохо, сердце? – перепугалась жена. – Тебе нельзя пить, нельзя пиво. «Ну что ты, манжелка! – молчал я. – Все нормально, все хорошо, пиво в Чехии мне можно! У любого чеха спроси».

– Просто встретился знакомый «Москвич»! – сказал я вслух. – Да и что это мы с тобой рьяно бросились старуху искать. Пройдем через площадь, в уличное кафе, посидим, кофе попьем, может, и сухого моравского винца, оно полезно для сердца.

Про вино я только подумал. Какой-то алкогольный день у меня получался. Утром, почти на заре, сливовица, потом пиво. И все же не зря объявился «Москвич», лет сто его не видел и вдруг – на, полюбуйся, я цел, целехонек, продукция «MADE IN AGASIYEFF». Да, в нем мой труд, мой пот, мой рассказ и брань Даздрапермы.

Мы сидели с женой в кафе. Я не стал убеждать ее, что сухое вино, особенно в моем возрасте, это бальзам для сердца. «Забальзамирует его, никакая гниль в сердце не проникнет!» Просто взял два бокала вина, по три шарика мороженого, орешки.

Три месяца работы в Москве на автомобильном заводе АЗЛК, где мы после четвертого курса политехнического института проходили производственную практику, просачивались в меня откуда-то из воздуха и из уже проехавшего и, наверное, не оставившего никаких следов «Москвича». Сначала запах металла особой листовой жести, из которой изготавливался кузов. Потом лязг, шум конвейера, московское дождливое лето 1974 года, красивая девушка без имени, с изящной линией подбородка, и в первое время невзлюбившая меня парторг Даздраперма...

*... За все три месяца жизни в Москве в памяти Ридана остались только две женщины: Большая Даздраперма и четкая, аккуратно ступающая девушка-контролер. Конвейер, метро, общежитие химико-технологического института на «Соколе» и мороженое «48 копеек» – полукилограммовый брикет, который ежедневно покупал сокурсник Ариф. Как он его только съедал и горлом не страдал?*

*Парторг кузовного цеха АЗЛК Даздраперма Ильинична приняла группу Ридана сурово. Не ее это была идея – приглашать на практику студентов иногородних вузов. Понаехали! Но должны помнить, что находятся в Москве. Она стояла перед ними, будто только с заседания политбюро. Серьезная, строгая и с именем странным – Даздраперма. Все свои страшилки по нарушению дисциплины на работе, общественной жизни в городе и в общежитии она говорила, не сводя глаз с Ридана. Словно бы была именно в нем не уверена. «Вот он, будущий... – Ридан пытался догадаться, кого она в нем может видеть, но какая-то непонятная «жвачка» придумывать рифмы к ее имени – Даздраперма – не давала сосредоточиться, – разве что, криминально ненадежный субъект...» – заключил Ридан и оказался где-то даже прав. Ридан смотрел на парторга, все правильное в ней, красивое, но с избытком, все большого размера. И назвать ее надо было как-то нежнее. Вместо Да Здравствует Первое Мая, просто Маей, как назвали, например, его одноклассницу Майю Э. Дочь полковника ракетных войск, очень уютная была девочка.*

*Ридан смотрел на Даздрапермy-Майю, все больше проникаясь ее пафосом: «На вашу долю выпала большая ответственность; вместе со всем*

славным коллективом АЗЛК принять участие в выпуске двухмиллионного автомобиля «Москвич». Может, даже кто-то из вас сможет получить его в подарок!» Она заканчивала фразу, ни на кого не глядя. Смотрела куда-то в окно. Там, внизу, за окном, на огромной площадке пылали разноцветьем новенькие «Москвичи». Двухмиллионного среди них еще не было.

Впервые девушку с изящной линией подбородка Ридан увидел на своем участке только в самом конце производственной практики. Она шла вдоль конвейера, аккуратно обходя всякие неровности, преграды, записывала что-то в блокнот. И Ридан записывал ее в себе такой, какой видел. Их взгляды встретились. Никакой искры. Какое-то время она смотрела на Ридана, потом повернулась и ушла. Пошла на другой конец конвейера, как в другую жизнь. Ридану вдруг захотелось, чтобы конвейер остановился, тогда он мог бы догнать ее, сказать что-нибудь, неважно, что, пусть даже глупенькое, или спросить: «Где ты была раньше, два месяца назад!» Он вдруг представил, что будет догонять и все оглядываться, не включился ли конвейер. И ему так жалко стало себя. Вся его жизнь в Москве — это променад туда-сюда в пределах своей зоны на конвейере. Хоть он и не ограничен клеткой, но все равно в клетке. И его желание сказать ей, что такое личико, как у нее, надо бы оберегать вуалью, так и оставалось неудовлетворенным.

В обеденный перерыв он снова увидел ее. Сидела за столом перед тарелкой с ломтиком арбуза, положив подбородок на кисти рук. Арбуз для заводской столовой был диковинкой, объяснялся Веисагой Риданом, что является праздничной атрибутикой к двухмиллионному автомобилю. Профком с Парткомом постарались. Веисага Ридан смотрел на нее, как она сидела, не ела арбуз, сожалел, что через пару недель уедет.

После обеденного перерыва, когда он вернется на конвейер, из него вдруг польется текст. То, что это рассказ и некое признание, и оно — как бы роспись в его стремлении добиться желаемого, Ридан осознает позже. Свой текст-рассказ-послание, как помесь кайфа от озорства и от творческого порыва, он запишет, не найдя ничего более подходящего, на крыльях кузовов «Москвичей» на конвейере. Ридан будет писать, вполне успевая делать и свою работу, сваривать контактной сваркой правую боковину «Москвича».

Кузова шли по конвейеру, он прошивал контактной сваркой проемы дверей правой боковины, стыки металла на крыльях под никелированные планки, успевал писать. Текст к незнакомке прямо-таки лился из него. Прошло не меньше десяти кузовов, прежде чем он успел закончить свой рассказ-послание незнакомке на другой конец конвейера. Закончив рассказ, он в творческом порыве, под придуманным им лозунгом: «За прочность правых боковин автомобилей!», без устали ходил взад-вперед по своему участку на конвейере, когда конвейер вдруг остановился. Еще не было тревоги, что остановили конвейер из-за него, была лишь радость, что сумел так ловко и красиво высказаться, а на горизонте, куда утекали кузова, появилась Даздраперма Ильинична.

«По мою душу», — подумал Ридан, гнев Даздрапермы для него уже не имел особого значения. Он издали видел, что Даздраперма шла вдоль кон-

*вейера, читала его послание на кузовах. Ридан понимал ее тревогу, кто знает, что там пишут на двухмиллионных «Москвичах».*

*Вчера вечером он наконец-то пошел в театр в Москве. Он почему-то выбрал театр Пушкина, может, из-за того, что там давали пьесу бывшего бакинца. Но именно по дороге в театр имени Пушкина он вдруг увидел вывеску: «Союз писателей СССР. Литературный институт им. А. М. Горького». «Вот!», – прошептал Ридан. Внутри у него все замерло. Он не забывал этот миг целых три года. Веисага Ридан знал, что он обязательно будет учиться в этом институте. Только надо сесть и начать писать.*

*«А вот и рассказ написан! – подумал Ридан, видя, что Даздраперма Ильинична направляется в комнату мастеров. – В единственном экземпляре, но будет колесить по всей стране... Почему все решили, что это я?» – спросил себя Ридан. Сам же и ответил: «Потому, что больше некому!» – эта мысль льстила Веисаге Ридану.*

*... – Ах, вот ты какой, наш писатель? – Даздраперма знала, как унизительно поставить ударение.*

*«Закрасят, Майя-ханым, – все закрасят, зашпатлюют, – молча отвечал Ридан, глядя в горящие гневом большие глаза Даздрапермы Ильиничны. – А что такого я, собственно, сделал? «Писатель!» Вспомнилась фраза Генки, он, якобы, цитировал одного из руководителей-прорицателей: «Кавказ нам еще такой понос устроит!» Ридан не верил, что руководители страны могли именно так выражаться. Но раз Генка цитировал... «Майя-ханым, почему сразу писатель? Я с Кавказа, мы обычно понос устраиваем, Даздраперма Ильинична!» Ридан так по-серьезному смотрел в Даздрапермовские глаза... они у нее забегали. «Смутилась тетка!» «Майя-ханым, Бог с вами, какая крамола?» Ридан и не думал, что может настолько обнаглеть: «Я слышал, завод будет поощрять передовиков, ветеранов производства, можно, в конце концов, и молодежь поощрить. Один из серии двухмиллионных автомобилей отдать, как приз, заводской красавице, мисс «Москвич-408». Хороший, партийный ход, Даздраперма Ильинична...»*

– Ты и в самом деле рассказ на машинах написал? – жена всегда, когда беспокоилась за меня, смотрела куда-то поверх моей головы, словно бы вымаливала для меня поддержку свыше. Сейчас за моей спиной возвышался Йиржи Подебрадский.

**Я чувствовал его, и вдруг сразу осознал и прочувствовал великую миссию памятников. Они, возвышаясь над всеми нами, продолжают дела тех, кого увековечивают. Я был уверен, что Подебрадский со мною, он за меня. Каждое утро, подойдя к нему, я здороваюсь с ним: «Добрый Дэ-э-эн, Ваше Величество!» – говорю я, восхищаясь его поразительной судьбой. Примеряюсь к нему: насколько же мы слабы духом.**

– Да, написал, – ответил я. Мне и самому было лестно. Подумал, собрать бы все правые боковины уже давно отслуживших свой срок автомобилей, соскрести краску, отбить шпатлевку, прочитать мой рассказ. Вот он каков, оказывается, нетленен, хотя я и не помнил, о чем он.

– И как он назывался? – жена делала ударение на слове как?

«Кто его знает, – думал я. – «Девушка и арбуз». Писали же картины «Девочка с персиками». Почему же не быть на автомобилях рассказу «Девушка с вырезкой арбуза».

– Что тебе было за порчу машин?

Жена не знала, каким парнем я был в первой молодости, только догадывалась.

«Манжелка, какая порча?»

– Ничего, на следующий день в очереди в столовой мне приставили сзади, к спине, вилку алюминиевую, имитируя нож.

Я был окружен со всех сторон. Ребята, пахнущие конвейером, его тяжелым потом, шутить не любили: «Тебе все понятно, джигит»?

В столовой, прямо напротив, сидела за столом незнакомка. Положив локти на стол, держа обеими ручками арбузную вырезку, впивалась зубами в ее мягкость, смотрела прямо на меня.

– Мне понятно! Но и вы должны знать. Если что случится со мною, вас всех казнят.

Конечно, это был блеф, опирающийся на наш имидж. Кто бы пошел мстить за меня? Но аргумент был веский. Слово сильное – казнь. Оно вдруг мне пришло. Да и не одинок я был в Москве, нас было двенадцать, я мог бы их позвать на помощь, но никогда бы этого не сделал. Чего подставлять друзей. Взял вилку со своего подноса, согнув пополам, пошел к незнакомке.

«Арбуз следует есть вилкой, не пачкать ручки. Вообще не пачкаться!»

Оставив согнутую вилку у нее на столе, я направился к конвейеру в цех.

«Даздраперма сказала – не трогать!» – услышал я вслед себе...

«И не трогайте, коль «паханом» вашим приказано!»

... – Все так и было, мадам, давай выпьем еще по глоточку, пойдем уничтожать старушку? Это она, с завода, и никакая там «нет, в середине!». Изящество ее подбородка морщины сгубили!

Чего всполошился? Будто найти эту женщину – дело жизни. Вспомнил, как она сидела, впившись в арбуз, взгляд отсутствующий, стеклянный. Такая она вдруг неинтересная стала.

– Найдем, вернем корень! А нам ничё чужо не на, у на сё е! – сказал я, четко ощущая за спиной всю стать памятника его Величеству королю Йиржи Подебрадскому.

Солнце спряталось за тучи, памятник Йиржи Подебрадскому, очень почитаемому мною королю, сразу помрачнел. Я вспомнил о Соколике. С самого утра, как только что-то связывается у меня с солнцем, мне вспоминался Соколик.

Я вытащил из кармана Соколика. Показалось, он был зол. Задыхался в кармане. «Ведь было сказано тебе, Веисагушка, лучше хранить в соломе... » А ты?

В интернете в мифах о мандрагоре говорилось: хозяин корня мандрагоры для достижения богатства не должен расставаться с корнем, садиться вместе с ним за обеденный стол, выделять ему еду наравне с собой.

«Соколик, мороженого поешь? Красный шарик твой, я к нему не прикоснусь. Достану я тебе солому. Попрошу Наталью, она будет сегодня за городом, привезет пучочек, или мы сами с манжелкой соберем травки. Будешь жить в шалаше, как Генкин любимчик».

... Мы подходили к трактиру.

**«Живи настоящим, оно будет все совершеннее, станет все более и более достойным твоих грез»,– подумал я, ставя точку на прошлом.**

В трактире музыка играла. Музыка была все та же – «Па-па па-ра-ра, пара ра...» и псина громадная та же, что была и утром. Гарсон был другой, с бравыми, закрученными кверху усами и заплетенной в косичку бородой. Я не почувствовал, что мы ему неинтересны.

– Мы пройдем вниз, к Эльбе, – сказал я, поставив перед фактом, как бы сразу обозначая: – «нам ничё не на!»

Гарсон понимал по-русски.

– Да, пожалуйста, оттуда замечательный вид на Эльбу. Внизу, под нами, она убыстряется.

– Нет, молодой человек, ничего не убыстряется. Река делает изгиб, возникает эффект углового ускорения.

Жена смотрела на меня, как на чемпиона мира по занудству.

«Манжелка, я просто контакт с молодым человеком налаживаю».

– Мы женщину хотим встретить, – в трактире было пусто, несколько мужиков сидело в зале, во дворе трактира никого не было, только официант и собака. – Непонятно, стара или молода. Она была здесь утром, к реке спустилась, пропала. – Я говорил ему в надежде, что официант что-нибудь да скажет о ней.

– Фиби, что ли? Она вдоль реки в замок ходит. Бывает здесь иногда по утрам. Говорят, мандрагору выращивает. Раздает людям, на кого глаз положит. – Официант испуганно обвел взглядом трактир. – Вы спускайтесь к реке, хотите, я вам пива туда принесу?

Мне так захотелось снова сливовицы. Все прошедшее за день упразднялось, я снова оказывался в сегодняшнем утре, и музыка Доброго Дня вновь звучала в моей душе. Чуточку изменившись, она делала крен на извороте, приобретая угловое ускорение. Я знал, что необходим небольшой импульс, она получит дальнейшее развитие, зазвучит по-новому.

«Гарсон! Сливовицы!» Пусть даже не выпью, даже не попрошу, просто подумаю, и это уже будет действо, которое обязательно повлияет на мою музыку.

– Молодой человек, а у вас брага бывает? – спросил, усаживаясь за обшарпанный стол. Полагая, что нет ее, конечно, это питье российское.

– Есть, – ответил официант, – замечательная бражка, изготовленная по старинному рецепту из замка. Нести?

– Конечно! – я посмотрел на жену: «Манжелка, это эликсир жизни!» – молча сказал я жене по-азербайджански. «Джан горуюджуды!»

– Сколько, кружку, две? – спросил официант.

– Одну.

– Вы хотели к реке пройти, спускайтесь, я вам туда принесу.

... Серая Эльба и вправду убыстрялась. Только непроходимому зануде пришло бы в голову про угловое ускорение. На душе стало неуютно. Захотелось крикнуть в шум реки. «Эй-ей-ей-эй», – закричал я, кричал сдержанно, как бы в себя, мой голос спешил вдогонку Эльбе.

Мы и в детстве, в Габале, поднявшись на вершину высокого холма, к истоку родника, где он бьет ключом из-под земли, оглядывая габалинские горы, стелющиеся под нами, кричали. Кричали все: и отец, и его друг, и дети друга, и я, мой младший брат, сумевший подняться вместе с нами. «Эй-ей-ей-эй!» И все же были мы сдержанны, не полностью отдавались крику, видимо, такова наша азербайджанская природа. Но она также искренне, по-нашему, по-азербайджански, желала всем Доброго

Дня. Этот всплеск наших душ должен был найти свое отражение в увертюре подебрадского Доброго Дня.

– Ты чего кричишь? – жена дергала меня за руку. – Смотри, там, у самого берега, собака мертвая.

Застывший оскал мертвой таксы Фиби пялился прямо на меня. Вдруг стало жалко моего знакомого, хозяина таксы, вспомнил, как он преодолевал этажи своего дома, останавливался на каждом этаже отдышаться, вспомнилась его такса, противная злючка, исправно исполняющая свой собачий долг: злобно лаять и не лениться с приплодом.

– А вот и ваша бражка, – официант спешил, спускаясь на полусогнутых ногах. Иначе, наверное, и не спустишься.

– Там собака мертвая! – жена моя ждала от официанта каких-то действий.

– Я уже вызвал катер береговой службы, приедут, заберут.

– Куда? – спросил я, будто мне было суть важно, куда повезут Фиби.

– Не знаю, в крематорий, наверное.

Я протянул официанту 100 крон. «Гарсон, 100 крон. Нет, это не рифма!»

– Сдачи не надо! Молодой человек, утром я здесь солому оставил. Не сохранилась ли случайно?

– Рапс мы высушили, знали, что вернетесь.

– Почему?

– К нам все возвращаются!

Это было правдой, в Подебрады мы уже во второй раз, даст Бог, приедем еще не раз.

Я не успел допить свою брагу, как из-за поворота реки появился катер береговой службы. Это был ностальгический для меня катер с широким реданом. Шел против течения, рассекая волны Эльбы, лихо развернулся, направился к берегу, прямо на Фиби. Матрос с багром в руке поднялся на редан, чтобы зацепить им таксу, затащить на борт.

Мы с женой и не заметили, как с противоположной стороны изгиба реки выплыл на полном ходу, раскинув свои паруса-крылья, большой, гигантский лебедь. Он смело шел на катер, не позволяя подойти к берегу, отгоняя его назад. Я никак не мог объяснить агрессивность птицы, разве лишь тем, что на берегу она высиживала потомство.

Я снова был на похоронах собаки и снова пил брагу, как в первый раз. Может, это было веление покойного Генки. Эта мысль только мелькнула, я отделался от нее, нет Генки – и все, забыли! Посмотрел на жену. Она держала меня за руку, напряженно следила за противостоянием катера с лебедем. В кармане ерзал Соколик. «Потерпи, сосед, скоро укутаю тебя в солому».

Не хотелось думать ни о чем мифическом, придумывать что-то, кроме того, что видел. Лебедь действительно был и гнал прочь от берега катер. А то, что лебедь – это душа, душа всех, кто знал таксу, душа Ёшки и даже душа моего знакомца, хозяина таксы, может, и моя – это стилизованная под лирику мистика. Подобная лирика позволяла подумать о старце Хароне, приехавшем за очередной душой. Ее можно было привязывать к чему угодно и к кому угодно, но себя я исключал, допускал старца Харона лишь к тушке таксы, выдернувшей Соколика из грядки. Откуда, если не из грядки, раз уж Ешка выращивала мандрагору. Для меня был только факт: «Лебедь гнал катерок!» Все. Жаль, что катер был с реданом.

## 7

... На следующий день я проснулся до зари. Соколик лежал в спальне на широком подоконнике, укутанный в рапс. Я уже не беспокоился, что солнце ему может навредить. Как травянистое растение, Соколик-мандрагора был в своей стихии, в траве.

– Добрый Дэ-э-эн! – пропел я мысленно Соколику. У меня получилось мелодично. Солнца еще не было, надо успеть встретить его на улице, – подумал я. Соколик, полезай в карман, в какой хочешь, в правый, в левый, теперь я от тебя защищен.

Женщина, приехавшая на тарантасе с ящичками с горшочками цветов, меняла показания на цветочном календаре.

– Добрый Дэ-э-эн! – я бодро поздоровался с нею. Сегодня она еще на один день приблизила меня ко дню рождения моего сына, спасибо.

– И вам всего доброго. – Женщина хорошо говорила по-русски.

Я уже отошел от нее, как пришло решение по Соколику: посадить Соколика в цветник. Как-никак, он ведь цветок. Уговаривал я женщину долго, уже солнце поднялось из-за памятника Йиржи Подебрадскому, цветочные часы показали шесть утра, и гном заколотил молоточком по шляпке гриба-мухомора.

– Разрешите его посадить, если не в цветы в календаре, то хотя бы в сквер к гномику. Он ведь растение, погибнет. Соколик волшебный, будет добро приносить отдыхающим.

Женщина только улыбалась, давно не встречалась с таким напором. «Ну, а коли я что решу»… стою до победного конца.

«Если бы корень не был похож на моего соседа?! Я бы не стал спасать его. Знаете, сосед мой знал то, что с нами затеют войну еще за два года до ее начала. Я не могу позволить, чтобы он погиб, не сказав мне, когда война закончится, позвольте, ханым, посадить его в скверике у гнома! Пусть растет со всеми чешскими цветами. Он приживется, будет под охраной городских властей и первым скажет, когда у нас война закончится, наступит мир». Я уставился на нее своим взглядом «Да Здравствует Первое Мая!».

Она молча дала мне лопатку. «Посади, сынок! Лопатку оставишь у гномика».

Не знаю, почему вдруг увидела во мне сына. Может, я уже помолодел, пока «вскармливал грудью» Соколика.

Соколика «похоронил» я глубоко, чтобы не каждая такса могла выдернуть. Запомнил место: метра два от гномика, наискосок по направлению к нашему отелю, Беллевью Тлапак.

Когда я выбрался из скверика, цветочные часы показывали двадцать минут седьмого. На календаре было шестнадцатое августа. Однако год был передвинут на целый век. «Ничего себе ошибочка вышла!»

**Календарь показывал 2116 год.**

«Эй! – крикнул я вслед уже отъехавшей женщине, – подождите!» Женщина на тарантасе увозила цветы вчерашнего дня. Она меня слышала, я был уверен, но не останавливалась. И уже отъехав довольно далеко, оглянулась. Я не видел ее ухмылки, но чувствовал, что она ухмыльнулась, будто знала про меня нечто большее, чем знал я. И опять откуда-то из моей молодости сверкнул взгляд. Он в последние дни неоднократно пытался проникнуть в меня. Он исходил от «девушки-старушки», Мартины из отеля, кассира подебрадского вокзала. Теперь смотрела женщина с тарантаса. Я даже увидел два его крепких, сверкающих на солнце, вонзившихся в меня луча.

– Подождите, вы ошиблись! – шептал я себе под нос. Посмотрел в скверик «Гномика-Соколика», и не смог найти место, где был закопан мною Соколик. «Как же так, – думал я. – Не может быть, куда он мог деться, земля там должна быть свежевскопанная». Но все было заросшим травой, мелкими желтыми цветами, названия которых я не знал, календулой. Соколик потерялся. «Сокол, я найду тебя!»

Женщина с тарантаса отвернулась, на меня уже не смотрела, я почувствовал, как два лучика ее взгляда, угасая, постепенно рассыпались. Вспомнилось, что был два раза на моей памяти такой же лучистый взгляд. Первый раз, в раннем моем детстве, на одном из клановых посещений просмотра фильмов по телевизору. Мы собрались у родителей мамы, у бабушки с дедушкой, смотреть телевизор. Я вдруг почувствовал над головой два ярких, упирающихся в телевизор луча. Оглянулся, муж моей тети, пригасив лучи веками, приставил палец к губам, мол: «Тише!» Вновь весь ушел в экран телевизора. Он с таким интересом смотрел на экран, будто своим взглядом, двумя лучами-прожекторами, вытягивал нечто из телевизора в себя.

Потом, много лет спустя, уже на изломе страны, с таким же интересом, словно бы пытаясь что-то вытянуть, смотрела на меня столетняя бабушка друга моего детства.

*… То, что бабушке Друга было сто лет, Веисага Ридан узнал случайно, уже после того, как ее не стало. В исполнительной власти поселка он увидел документы на дом бабушки Друга, домовую книгу. И Веисага с удивлением и не без удовольствия обнаружил, что Тете К-не было сто лет. Он никак не мог поверить. Вот они, сто лет, наяву. Ридан и не знал, как должны выглядеть люди в сто лет. Скорее всего, хорошо, заключил он, раз столько прожили. Словно назначенные Тете К-не сто лет были тайной, никто не должен был знать. И Друг, видимо, не знал, иначе бы не выдержал, сказал бы.*

*Тете К-не было сто лет, выходит, родилась она в 19 веке. Ридан мысленно перенесся в Казань, откуда была родом Тетя К-на. В молодости Ридан невольно вел летоисчисление от рождения Ленина, примеривая даты известных людей, событий к 1870 году. И к Тете К-не примерил. «Она могла видеть вождя! В Казани». Теперь эта мысль не вдохновляла. Ридан отходил от летоисчисления по Ильичу. Вспомнилось, как Тетя К-на шла в войлочных ботах мелкими шажками по переулку, не поднимая головы. Независимая, ни на кого не смотрела. «Тетя К-на, я за хлебом, купить вам, а то пока вы дойдете?» – спрашивал Ридан, на ходу обгоняя ее. Ридан не мог не предложить помощь бабушке Друга. «Беги себе!» – отвечала она, не глядя на Ридана. Ридан и не помнил, чтобы она смотрела на него, кроме того дня, когда видел ее в последний раз, и еще однажды, когда ожидал в прихожей, пока Друг отобедает. Ридан сидел на стуле, слышал, как внук с бабушкой спорили, им было весело спорить. За окном ветер раскачивал ветви орехового дерева, свисающие из соседского сада. Падали уже созревающие орехи в почерневшей зеленой оболочке, Ридан пытался сосчитать их.*

*– Сначала суп, потом хворост.*

*Друг, как капризный ребенок, корчил рожицы, показывая, что ему не хочется есть суп. «Нет, суп!» – строго говорила Тетя К-на и, глядя на скорчившего рожицу внука, не выдерживала, начинала смеяться.*

Она и Ридану принесла на тарелочке свежеприготовленный хворост. Горячий хворост с капельками еще неостывшего масла обжигал. «Попробуй, сынок», – улыбнулась Тетя К-на ямочками на щеках, поспешила назад к внуку, проследить, чтобы он съел еще одну ложечку супа. Ямочки на щеках были у всех троих ее внуков; у Друга, у старшего брата Друга и у сестры Друга, это она их ими наградила. На какую-то секунду Ридан вдруг увидел, насколько глубок ее взгляд, и глубина ее взгляда, прикрытая хорошим настроением, чувствовалось еще явственнее.

За неделю до этого Друг тоже приезжал к бабушке. Они как бы поменялись. Тетя К-на поехала в поселок Разина к сыну, а Друг – к ней на Кара-Чухур с ночевкой.

В этот день вечером должна была состояться свадьба дяди Ридана, всеми в семье любимого Миши-Махмуда. В жизни Ридана это первая свадьба, на которой он должен был быть. «Я там был, мед-пиво пил...»

«Может, медовухи попьем?» – предложил вдруг Ридан. Друг только удивился.

– Мне на свадьбу, но там вряд ли будет, как в сказках, мед да пиво. Выпьем по чуть-чуть медовухи?

– Как это?

– Возьмем водки, размешаем в ней мед.

Медовуха им не удалась. Наверное, надо было выпить сладкой водки, чтобы потом уже не возвращаться к этому варианту. Полстакана меда в водке не растворились. Пили по глоточку и словно закусили водку медом и игрой на струнных инструментах, кои были в доме бабушки Друга, запрещенной в те годы «Pretty Woman». Скрипка, гитара, контрабас. «Трата-та. Трата-та-та!» Друг учил Ридана играть на одной струне контрабаса эту великую мелодию. Ридану удавались эти несколько нот, после звучания которых на танцах в клубе обычно кто-то, блюдивший моральные устои, давал команду прекратить, и гитарист эстрадного оркестра кара-чухурского дворца культуры с извиняющейся улыбкой послушно замолкал. Позже мелодия «Претти вумен по улице идет» очень хорошо бы легла на трактат Ридана «Перемещение женщины в пространстве», если его читать под музыку Элвиса Пресли.

Этот день с «медовухой» Ридану запомнился на долгие годы. И не только потому, что на свадьбу дяди он не попал, развезло, проспал до самого утра. Но еще и признанием Друга. Захмелевший Друг сообщил Ридану, что у его бабушки был пасынок, он не вернулся с войны. Это был сын ее мужа, дедушки Друга. И Тетя К-на всю жизнь чувствовала некую собственную вину, что пасынок не вернулся. Друг поделился своей тайной, взвалив груз на Ридана.

Веисага Ридан открыл калитку во двор Друга в поселке Разина. Два блеклых, переливающихся перламутром на закатном солнце луча, вспыхнув, смерили его всего с головы до ног. Тетя К-на, бабушка Друга, сидела в беседке в саду. За беседкой и справа, и слева к дальней ограде тянулись саженцы роз. Эти несколько шагов от калитки до беседки он шел под ее пристальным взглядом.

– Здравствуйте, Тетя К-на! Друг дома?

*– ...*

*– Мама, идите ужинать, – это мать Друга звала свекровь.*

*В семье Друга все обращались друг к другу на ВЫ, и это Ридану нравилось.*

*– Как отец? – Тетя К-на смотрела прямо в глаза Ридана. Ридан сомневался, что она знает его отца, что даже видела когда-то. Все же ответил: «Хорошо». Ответил и тут же почувствовал, что делает что-то не то. Ему бы молчать, но он послушно отвечал на все вопросы, спроси сейчас она его о литературе или о его учебе в институте, он бы послушно стал рассказывать, как рассказал вдруг о соседском петушке, кричащем фальцетом, и то лишь только потому, что ему самому был интересен петух со столь необычным голоском. Ридан чувствовал, как взгляд бабушки Друга, войдя в него, шел куда-то в неизвестность. Он вдруг нашел объяснение тайне, поведанной ему Другом. И Тетя К-на почувствовала, что он знает о ней нечто большее. И если она своим концентрированным взглядом, силой мысли, оберегая в войну своего сына, «прошивала» пространство, входила из жизни в смерть, то теперь, расспрашивая Ридана обо всем на свете, цеплялась откуда-то из неизвестности за жизнь нынешнюю, нить от которой потеряла. Ридан видел: все, что он рассказывал, ее не трогало. Сделав еще несколько попыток ухватиться в Ридане за жизнь, она поднялась и пошла в дом. Её снова позвали. «Мама, вы идете?» – Она не отвечала, шла.*

*Уходила столетняя женщина, правда, об этом он подумал позже, когда узнал, что Тете К-не было сто лет. Повторись это вновь и будь у Ридана его старая кинокамера, он снял бы уход столетней женщины. Он был уверен, на это перемещение женщины в пространстве музыка «Претти вумен по улице идет» тоже бы удачно легла. Ридан подумал, что надо было дать Тете К-не зацепиться за жизнь...*

...Я смотрел на дату на цветочном календаре. С веком ошиблись. «Ах, это, значит, ты, мандрагора, упрямица! Ты меня сделала молодым, состарив на целый век. Я же тебя спас от высыхания! Эх ты, Сокол, Сокол!» Я даже не хотел искать глазами Соколика в сквере Гномика.

Мимо проходили подебрадчане: «Добрый Дэ-э-эн!» мелодично говорили мне. «Добрый Дэ-э-эн!» – ответил я, чувствуя, что мои пожелания придали звучанию высоту и патетику. Увертюра звучала гимном. Я дарил его полюбившемуся мне городу. Не знаю, положены ли по статусу городам гимны, но для города первого короля, для города Йиржи можно было сделать исключение. «Я дарю вам гимн, подебрадчане, только передать не могу, нет слуха!» Я шел с подебрадчанами, как подебрадчанин, мысленно желая всем Доброго Дня.

– Господа, регарде а ля гош, – говорил я на своем французском, – посмотрите налево, на календарь из цветов, на дворе новый век, примите с моими пожеланиями Доброго дня и пожелание Доброго Века!

Я шел со всеми, возвращался в гостиницу будить жену, сказать, что новый век на дворе, звонить всем родным, близким, знакомым, чтобы хоть коротко, пусть даже только на день, оказаться со всеми своими в новом веке.

# ГОСТЬ

## ВЛАДИМИР ЦЫРУЛЬНИК
*(Баку-Москва)*

*Владимир Цырульник принадлежит к первому поколению авторов бакинского Клуба авторской песни. Родился 20 августа 1954 года. Закончил Азербайджанский институт Нефти и Химии им. М.Азизбекова в 1976 году и уехал в г.Кулебаки Горьковской области. С 1990 года живет в г.Троицк (теперь это Новая Москва). Регулярно публиковал свои стихи в газете «Кулебакский металлист». В 1996 году несколько стихотворений опубликованы в литературном сборнике «ЛиТр» – Литературный Троицк, несколько песен вошло в аудио-версию сборника. С 2008 года участник Бакинского Международного фестиваля авторской песни. Под воздействием атмосферы фестиваля и города Баку появились его новые песни.*

### *Бакинские огни*

**Бакинцев бывших не бывает,**
**хоть шар земной нам домом стал**
**Я в этом городе родился, я этим воздухом дышал,**
**Гулял по улицам беспечно, на берегу встречал рассвет...**
**Я видел много, но поверьте –**
**Баку прекрасней в мире нет!**
**Как ни делили б нас границы,**
**мы с вами все – одна страна,**
**Чуть слышно над Бакинской бухтой звенит гитарная струна.**
**Ее призывный голос слыша, я знаю: ждут друзья мои...**
***В моем навек бакинском сердце горят бакинские огни!***

**Бакинцев бывших не бывает –**
**я повторяю вновь и вновь.**
**Здесь я впервые взял гитару, здесь встретил первую любовь.**
**В Баку мои друзья и песни, Баку в меня корнями врос –**
**Я этим городом пропитан,**
**как солью Каспия матрос!..**
**Нас буря жизни разметала – всё дальше юности причал...**
**Но, заглушив раскаты грома, аккорд гитары зазвучал.**
**Ее призывный голос слыша, я верю: ждут друзья мои!..**
***В моем навек бакинском сердце горят бакинские огни!***

**Бакинцев бывших не бывает,**
**бакинец – это навсегда,**
**И в разных городах и странах**
**опять звучит родное «да-а»...**
**Нас разделяют океаны и часовые пояса,**
**Другие там дожди, туманы и не такие небеса.**
**Но не пугают километры, и не страшна любая даль,**
**Когда бакинская гитара зовет друзей на фестиваль.**
**Ее призывный голос слыша,**
**я знаю: ждут друзья мои...**
***В моем навек бакинском сердце горят бакинские огни!***

## *Огонь*

**Я вновь вхожу в старинный храм –**
**О нем я часто вижу сны,**
**Как будто все ветра Баку**
**Меня несут в Сураханы.**
**Там слышен шепот древних стен...**
**Я здесь, чтоб слушать эту речь**
**И чтоб, обняв своих друзей,**
**На алтаре огонь зажечь.**

**На древнем этом алтаре**
**Огонь не гаснет сотни лет,**
**И значит, будем на земле**
**Мы с вами жить, не зная бед.**
**И будет шелестеть трава,**
**Встречая солнце на заре,**
**И будет в храме Атешгях**
**Гореть огонь на алтаре.**

**Огонь, что вопреки богам**
**Принес на землю Прометей,**
**Огонь в домашних очагах**
**И в зыбком пламени свечей.**
**Огонь, что мечется в костре**
**И в храмах разных вер и стран.**
**Огонь, который озарял**
**И Атешгях, и Гобустан!..**

**В старинном храме звон гитар**
**Звучит молитвой новых дней –**
**Зороастрийцев заменил**
**Поющий круг моих друзей.**
**А голоса старинных плит**
**Нам тихо шепчут о добре,**
**Судьба по-прежнему хранит**
**Огонь на древнем алтаре.**

**Огонь, который греет дом,**
**Огонь, который хлеб печет,**
**Огонь, который по ночам**
**Считает в небе звездочет,**
**Огонь, сияющий в глазах,**
**Что согревает в жилах кровь,**
**Огонь, пылающий в сердцах –**
**Он называется Любовь!..**

**ЛЯМАН БАГИРОВА**

# Внимание к людям. Павел Нилин

*Эссе*

Муха жужжала назойливо, билась в мутные окна. Очевидно, ей было очень скучно. Это была веселая летняя муха, неведомо как попавшая в крошечную библиотеку приморского пансионата. Да и кто заглядывал в нее?.. На полках сиротливо стояли книги, томились в своей пыльной тюрьме.

Я забрела туда случайно. Не потому, что очень хотела читать, но неистребимый дух любознательности, видно, отпущен мне был полной мерой. Мне было интересно все: от движения небесных светил до строения цветка, от кулинарных изысков до тихого шелеста книжных страниц.

Книга, которую я лениво, наугад взяла с полки, не была мне известна. И имя автора ничего мне не говорило. Павел Нилин, «Варя Лугина и ее первый муж». Название, во всяком случае, интригующее! Прочитала несколько строк и … забыла и о пыльном воздухе, и о назойливо жужжащей мухе…

Не могу сказать, что Нилин поразил мое воображение так же, как Паустовский или Булгаков. Но если есть такое понятие, как «очарование безыскусности», то его в полной мере можно применить к Нилину. Он был, что называется, «нешумной славы человеком»…

И официальная биография его более чем скупа. Родился 16 января 1908 года в семье ссыльного поселенца Филиппа Данилина и его жены Марии. Образования не получил, сын Нилина – Александр – предполагал, что отец вообще не ходил в школу, а грамоте был обучен своей матерью, воспитательницей в детском доме. Заболевание в детстве полиомиелитом привело к хромоте.

Служил в уголовном розыске советской милиции в Тулуне под Иркутском.

С 1927 года работал журналистом, сначала в Сибири, потом в Поволжье, на Украине, и, наконец, в Москве.

Первые рассказы напечатаны в 1937 году в журнале «Новый мир» под фамилией Нилин. Роман о шахтёрах Донбасса «Человек идёт в гору» Нилин в 1939 году переработал в сценарий фильма «Большая жизнь».

Всеобщее признание пришло к Нилину благодаря повести «Жестокость» (1956), переработанной из рассказа 1946 года; речь в ней идёт о борьбе с преступностью, становлении и судьбах молодых людей в 1920-е годы.

Член правления Союза Писателей СССР с 1971 года.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Это все, что говорят о нем официальные данные. Я же попытаюсь рассказать о нем так, как запомнилось, как легло на душу мне его творчество.

***

Есть писатели одной книги. Есть актеры одной роли. Это их вершина и их же Голгофа. Что бы они ни написали и ни сыграли до этого и впредь, их будут воспринимать именно как творцов одного образа. Недаром говорят: «У каждого – свой Чапаев». Проклятием стал Чапаев для Бабочкина, Шурик для Демьяненко, Штирлиц для Тихонова, «Муля, не нервируй

меня!» для Раневской, «Кофелек, кофелек» для Садальского-Кирпича. Грибоедов был автором десятка произведений и, помимо того, великолепным пианистом и композитором, но в историю вошел лишь как автор «Горя от ума». Ершов прожил 54 года, написал много, а прославился благодаря своему первому произведению, написанному в 19 лет – «Коньку-Горбунку». Ярлык намертво прилипает к людям, врезается в них, как инталья в камень, и что бы человек ни сделал до него, что бы ни сделал после, ему не избавиться от проклятия клише. Некоторые мечтают о такой славе, способной сделать их имя нарицательным, некоторые чураются ее, как прокаженной. Но ни те, ни другие не могут избежать ее. У каждого своя страсть.

Перечитывая написанное Павлом Нилиным, находишь удивительное и почти исчезающее из современной литературы явление – внутреннюю меру точности, некий баланс, позволяющий произведению не скатиться в яму пошлости, фамильярного заигрывания с читателем, но и не вознестись на вершины отвлеченного мудрствования. Писатель, по своей миссии, всегда противопоставляет себя читателю и всегда стоит как бы чуть-чуть над ним. Но вовсе не потому, что обуреваем гордыней, а потому, что вообще-то писатель призван учить тому, «что такое хорошо». И это нормально, в этом есть порядок, просто некоторые писатели делают это чересчур навязчиво, а навязчивость всегда порождает протест и отвержение. Напротив, тихое, ненавязчивое слово всегда быстрее достигнет человеческого сердца, чем трубные звуки и бряцающие кимвалы.

В том языке словесности, который, по определению Гоголя, «не ищет слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предается естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий», – что же здесь является главным, трогательным, памятным сердцу?..

*«Иной раз я с грустью думаю, что в нынешнее время уже не ценится чистое, точное, выразительное письмо. Критики наши в большинстве случаев охотно пересказывают содержание романов и повестей своими, отнюдь не впечатляющими словами и редко разбирают, ощупывают, исследуют самую ткань сочинений. Отдают первенство идее произведения.*

*Но чтобы донести идею, нужна форма, увлекательное повествование. Талант от бога. А если бога нет? Тогда мастерство?*

*Вероятно, в интересах нации надо как-то оконтуривать хорошего писателя, т. е. выявлять его особенности и круг содеянного. Это полезно и для общества, и для живущего писателя».*

Так писал Нилин в 1970 году.

«Ткань сочинений» писателя, его «контур и круг содеянного» – и есть главное в его творчестве. Это его тема.

Тема определяется в самом начале творческого пути, она может по-разному освещаться, по-разному звучать, могут смещаться акценты, но тема – основа творчества, сообщающая ему стройность, плотность, цельность, – дается раз и навсегда.

О чем бы не писал Нилин в своих рассказах – о судьбе партизана, убитого в тайге («Хоронили моего дядю»), о великом враче Бурденко, о кряжистом и целеустремленном старике Завееве («Старик Завеев»), о спокойной уверенности в своей правоте и победе («Дом господина Эшке в городе Венёве») или о неистребимой, непостижимой любви к жизни («Тромб»), о неоднозначности и невероятной сложности человеческих взаимоотношений в рассказе «Дурь» – всюду прослеживается густая плотность и прочность бытия. Все его герои – и городские, и деревенские – крепко стоят на земле, связаны с ней духовными корнями.

Наличие темы, блестящая стилистика, слог, язык – да, это показатели серьезного творчества, большого таланта. И все-таки, наверно, не это является определяющим в писательстве. Так что же?..

Любовь. Умение писателя любить своих героев и донести эту любовь до читателя – определяет настоящего писателя. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими,

а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.» Слова апостола Павла, сказанные тысячи лет назад, можно в полной мере отнести к писательскому труду.

Павел Нилин любил своих героев. И в особенности это относилось к россыпи так называемых «женских рассказов». К героиням своим (кроме, пожалуй, Нонны из рассказа «Осень в Жухарях») он относился не просто с любовью, а трепетно, жалеючи. Но «любить» в народном понимании это и есть «жалеть».

Вот перед нами простая женщина Тоня из рассказа «Впервые замужем». Многим эта героиня знакома по одноименному фильму с Евгенией Глушенко в главной роли. Слово к слову, словно узор из простых ниток, выкладывает Нилин историю ее жизни. Никому не нужная, даже родной дочери, ненавидимая зятем, тихая, кроткая, работящая женщина рассказывает о себе просто, не желая произвести внешний эффект. А в финале рассказа получается как в песне: «Да как же это вышло-то,\ Что все шелками вышито\ Судьбы моей простое полотно». И радуешься за героиню, к которой пришло долгожданное счастье, когда ей уже далеко за сорок, и понимаешь, вбираешь сердцем, что люди – это не просто винтики в системе народного хозяйства. Что все мы разные, у каждого свой огромный мир мыслей и чувств, и у каждого за плечами – жизнь, правильная или неправильная, но одна-единственная и неповторимая, и что каждый достоин счастья и вправе на него надеяться.

«Милицейский протокол тоже умеет интриговать не хуже авантюрного романа», – однажды заметил Павел Нилин. Сколько черпал он сюжетов для своих рассказов из милицейской хроники. Не криминальной, а обыкновенной, бытовой. Но вся наша жизнь соткана из быта, и разве не интересно наблюдать, как одних быт ломает, утомляет и опошляет, а другие умудряются пронести сквозь него и цельность натуры, и свежесть чувств?..

*«Все мы вышли из гоголевской шинели»* – эти слова, сказанные Достоевским[1], ознаменовали целый пласт прозы о «маленьком человеке». Но поведать о «маленьком», незаметном человеке так, чтобы он предстал в величии, или хотя бы был притягателен – на это нужен не только большой талант, но и большое внимание и любовь.

Рассказ «Счастливая женщина». Пожалуй, один из самых пронзительных рассказов Нилина. О женщине, для которой несчастье, приключившееся с ней – единственная возможность отдохнуть и, возможно, впервые в жизни почувствовать заботу окружающих. И она, преисполненная благодарности, чуть ли не плачет от умиления.

Скупыми, простыми словами писатель начинает рассказ, словно зачитывает милицейскую хронику:

*«После войны был принят суровый закон, по которому не явившиеся на работу или опоздавшие хотя бы на двадцать минут рабочие и служащие подвергались по суду серьезному наказанию, вплоть до тюремного заключения.*

*Поэтому Нюра Заботкина, санитарка Кунцевской районной больницы, больше всего боялась опоздать на работу. Уже немолодая женщина, оставшаяся с пятью детьми без мужа, убитого на войне, она каждый день вставала чуть свет, чтобы затопить печь, накормить детей, подоить козу. И спешила на поезд, на станцию Катуар. И все-таки ей ни разу не удалось войти в вагон пригородного поезда, так как к семи часам утра все вагоны уже набиты были до отказа такими же, как она, пассажирами, едущими на работу в Москву или в сторону Москвы. Нюре Заботкиной, в лучшем случае, удавалось пробиться только в тамбур. В худшем случае она ехала на подножке, держась за поручень...»*

Что сверхъестественного могут заключать в себе эти слова о какой-то санитарке районной больницы, боящейся опоздать на работу? И все же – зачин дан. Ощущение тревоги начинает нарастать.

Она умещается на подножке, за ее спиной виснут еще и еще – преимущественно мужчины, но она, заслоненная со спины, *«висела теперь не последняя снаружи, и... не без некоторого наслаждения вдыхала крепкий запах мужского пота, пригорченного махоркой от*

[1]Слова ошибочно приписываются Достоевскому. На самом деле их сказал французский журналист Э.Вог в беседе с писателем.

*только что выкуренных на станции цигарок».* Но поручень, за который она держится одной рукой, *«вдруг стал совсем шатким. Он, видимо, выскальзывал уже из верхнего гнезда, из верхнего крепления...*

*– Оборвемся, – крикнула Нюра помимо воли своей. И услышала, как хрустнул поручень, и что-то зазвенело и лязгнуло вверху.*

*И этот звон и лязг были последними звуками, какие она услышала в это утро»...*

Всего несколько абзацев, а картина безрадостной жизни – налицо. И тягостное вдовство Нюры, очерченное единой фразой: *«не без некоторого наслаждения вдыхала…»*, и подкрадывающуюся старость, впрочем, которой она и не заметит, так же, как и уходящую молодость, потому что у нее за постоянной рабочей круговертью просто не будет времени их заметить.

И именно сейчас она счастлива тем, *«что просто лежала, наслаждаясь покоем. Она слишком устала за эти десять лет, вернее, за пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет или, еще вернее, за всю свою жизнь, с самого деревенского детства. Нежданно-негаданно ей выпал отдых в результате катастрофы. И она попала в привилегированное положение человека, за которым должны ухаживать, как она сама ухаживала за другими».*

Сколько же надо мучиться, надрываться всю жизнь, не зная отдыха ни в юности, ни в зрелости (да и в старости не будет знать покоя! Не привыкло военное и послевоенное поколение к отдыху!), чтобы сейчас как подарок воспринимать вынужденную праздность?! Небольшой рассказ, а в нем – гимн «маленькому человеку», его незаметному труду и скромному величию. И так практически в любом произведении Павла Нилина – любовь и внимание к человеку.

Если человек хорошо делает свое дело – он настоящий поэт. «Хорошая сваха – поэт, хороший сапожник – поэт» Кажется, так звучала реплика из замечательного спектакля БДТ «Ханума». Павел Нилин, мастер прозы, был настоящим поэтом, он прекрасно делал свое дело, он любил его и имел полное право на слова:

«*Нет особого открытия, что нередко писатели, пишущие прозой, больше поэты по самой сути своих сочинений, чем те, что старательно нанизывают рифмованные строчки.*

*Что касается меня, то в мою жизнь поэзия вошла раньше, чем я узнал, что она называется поэзией. Она вошла, как, вероятно, и в сознание всех других людей, вместе с песенкой матери у моей колыбели и не угаснет у борта могилы*».

***

… Кажется, я была единственной за все время существования пансионата, кто обратился к его руководству с просьбой… подарить мне книгу из библиотеки. Сонная сестра-хозяйка и секретарь директора воззрились на меня с изумлением. Естественно, мне отказали – слыханное ли дело: подарить казенную (правда, до этого никем не читанную) книгу неведомой отдыхающей девчонке! Но я была ребенком балованным, подключила к этому делу родителей, и все уладилось. Взамен рассказов Нилина мы водрузили на библиотечную полку книжку рецептов кондитерских изделий – так сказать, возместили ущерб и вернулись благополучно в город с вожделенной книгой.

Я не жалею и сейчас, что поступила так. Я бы выкупила ее тысячу раз, если бы потребовалось. Книга, исполненная внимания к человеку, милосердия к нему, служащая заветам добра и гуманизма, не должна покрываться толстым слоем пыли и в конце концов быть отправленной на свалку. И несчастные мухи не должны биться в мутные окна, потому что в библиотеке не может быть грязных стекол. Они должны быть залиты светом и наполнены нежным пианиссимо переворачиваемых страниц, а не назойливым мушиным жужжаньем.

Мне очень хочется надеяться на это. Очень хочется…